

Н · О · В · О · С · Т · И
РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ
УДАДЬЩИНА
ЭПОПЕЯ

ОТДЕЛ ПИСАТЕЛЕЙ "КРУГ" 1927

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ

УЛЯЛАЕВЩИНА

ЭПОПЕЯ

АРТЕЛЬ ПИСАТЕЛЕЙ

„КРУГ“

1927

ГЛАВА 1.

Телеграмма пришла в 2-40 но́чи.
Ковровый тигр мирно зверёл,
Когда турецких туфель подагрический почерк
Истопта́л его пустыню от стола до дверей.

И матовый пузырь, о́правленный в ко́сть,
Подъя́тый террако́той антикварного не́гра,
Гранёными леды́шками стуча́лся от эне́ргий
В кры́шку чемодана из крокоди́льих кож,

Куда швыря́ло акции, керенки, валю́ты,
Белье, то́мик Бло́ка, стэк с монограммой,
Шифро́ванное сло́во стра́шной телеграммы
Та́инственное---„револю́ция“.

„Ерунда! Это бунт! Он сойдет на у́быль,
Мы еще верне́мся в геро́и ку́лисы!..“
И мешо́к, по которому цепью ну́ли,
Ухмыльну́лся орля́нкой, бле́дной как ру́бль.

Судорожно сунут конусный Спас.
Двор под черепом автомобиля ожил,
Судорожно свёл никкелированную пасть
Крокодил из чемодановой кожи.—

Пока на подоконнике двуносый бульдог,
Копируя карикатурный обрюзг миллионера,
Стерёг рассвет зеленовато-серый
И вдрогнул, заслыша гудок.

Обугленный ворон, смутный как вечер,
Как старый шахтёр горбат и уныл,
Крыльями смазал кайло Луны,
Где тень Земли выела чрево.

И черный в короне лучистых струй
Рабовладельчески восставя копьё громоотвода,
Зажужжал замок ночного завода
В астме машин и митинге труб.

Полёт рафинированной стали блеснул,
Вздрагивало зарево, багровое как стронций,
И в броневых динамо залитые солнца,
Двигая чертёж трансмиссий и систем.

В вокзале из стекла под лампионами арк
Вращали барабан и в картавый завар его
Гром, перекаывая, „р“ выговаривал:
— Карырыл Маррькс-Карырыл Маррькс—

И, содрогая машинный собор,
Башни нефтебаков, катакомб аккумуляторов
— Барабана рябой бой
Подбивал рабочие кадры.

Весь организм завода. Сталь.
Животная мощь электричества
Сучили нервы у сотен, у тысяч
Свистали—гудели: „Восстань!“.

Забойщики, вагранщики, сверлошники, чекан-
щики,
Строгальщики, клепальщики, бойцы и маляры,
Выпотывая в лоске литье рёбер и чекан-
щики
Лихорадили от революционных малярий.

Хотя бы секунду, секунду хотя бы
Открыть клапана застоявшихся бурь,
И вдруг императорский Петербург
Вдрезбезги рухнул в Октябрь.

Директор узнал об этом раньше рабочих.
В. Н. Морозов, горный король,
Оставил в кабинете обручи для бочек
И недокусанный сэндвич икрой.

Да несколько депеш: капитану Канари,
Своей супруге Тате и некой мадам

И вот крокодиловой кожи чемодан
Умчался, уменьшаясь в малиновый фонарик.

А за ним в очках по болотной чаще,
Где только порханье нетопырей,
В грохоте колёс, нажимая все чаще,
Головокружительно мчался и мчался
Завода ночной экспресс.

Но в день, когда чёрным углём на тракт,
Харкая знамёнами, высыпал завод—
Казачья сотня, кривясь от зевот,
Тащилась атакой на вялых ветрах.

Но тут уж ворочался с Мазура и Стохода
В шинели, накрахмаленной в крови,
В волдырях, обмотанных вёрстами походов,
Обрыганный вшами, фронтовик.

И не успев, как надо, умучить на людях
За войну перелопатанных дома баб,
С обрезом винтовки от жёлчи лютый
Красногвардейщиной пёр в хлеба.

Как бочка, где бродит хмель и вода,
Вспенясь от газов, взрывает обруч—
Россия во чреве растила удар,
Разнесший ее христомордый образ.

И дедкой за репку по пене по той
Пошла катиться на ширмах „Петрушка“:

Паук-протопоп, крича про потоп,
Да туз-буржуй на пушке,

Помещик Брангель с дяблями,
Ножки-фри, икотица...

Эй, яблочко,
Куды ж ты котися?!

А пена капустой айда гуляет,
Это не люди, не стар и млад,
Это прёт единица с нулями,
Это ожилá самá земля.

Сама земля — погорелица,
Отряхаясь корнями рук,
Это мох бородой по корé лица,
Это рыжих листьев под шапкой шум,

Это с присвистом корчит гримасы сап,
Тиф кишкáми по швам в треск...
Люди? Нет — это масса,
Масса через три „эС“.

Если бы дым их избяных труб
За день сконцентрировать и просеять сажей,
Черный крест жирнотю в сажень
Лег бы по экватору и полюсам на круг.

Если бы из организма партизанских войск
Выпарить соль и разложить по улице:

С точностью до одной п-ной 0,7 унций
Пришлось бы каждому буржуа на хвост.

И четная икота пулемета-та-та-та
И гранат лирический звон —
Всё воспевает исторический смотр
Массы, мрущей в коммунный навоз.

Это был — т'руба, барабан!
Их последний — да, раба!
И реши — жих-жах!
Тельный бой — нив и шахт!

С Интер — пулеметы — нацио
Дзум — пыйхь — оналом
Воспря — труба — нет, род — барабан
Людской — дун! ввв!..

Но покуда защищалась буржуйтина клятая
И завод дьбился рывком,
С морей налетел товарищ Гай, агитатор,
И с ним походный Ревком.

Товарищ Гай: небольшой тик справа,
Так что под скулой кишки муравьи,
Но торчали в глазницах черных как рвы
Круглые очки в железной оправе.

Товарищ Гай просмотрел свой актив:
Лошадиных. Четыха, Кулагин.

Хотя состав не так чтоб ахти,
Но авось да потянут тягу.

Итак, смета: Лошадиных в чеку,
Четыхе завод (он парень с угрозой),
Кулагин пойдет в Губпродком и Угрозыск,
А Гай за всех на-чеку.

Ударник и стихийник, хам и герой
В прорыве притүшенной личности
Сашка Лошадиных без околичностей
Крой!

Сашка Лошадиных — матрос с броненосца,
Сиски в сетке, маузер, клеш
Прет энергию псковская óспа —
Даешь!

Сугробовский молотобой Четыха Артемий,
Сурьезный (пауза), ясного ума,
Мокрым утиральником обматывая темя,
В затмении чувствий был от бумаг.

Не раз моргая прижимал он шляпу:
— „Д‘ товарищ Гай, смілуйся—по башке гул,
Неграмотный я, еле кляксы ляпаю,
А тут — доклады, счета — не могу“

Зато вот уж Кулагин — мужичонка вострой,
Этот самостийничаст — к преду ни ногой,

Губпродком обособил ровно каменный остров,
Открыл междуведомственнейший огонь.

Но пузыря очками окна косые,
Сталью пера истекал неврастеник,
И от мыслей кружились плакатные стены
С гитарой и картой лоскутной России.

товарищ Гай, как Москва на карте,
Привинтив по нерву на каждый Отдел,
Звонил:

Четыхе — „Не хнычь — поднажарьте!“

Сашке — „Полегче“.

Кулагину — „Дел?!?“

Он, всегубёрнский, лиллипутный Ленин,
В клочотаньи классов, рас, поколений
Напрягая жилы, так что дёргалась десна,
Не знал ни режима, ни сна.

И только когда эта гунная страна
На минуту утихнет от арбы и отары —
Он подойдет к расщеплённой гитаре
И, как пчелы, загудит струна.

Грифа с гвоздик, дребезг и постук
Вощаной жилы соленое — ззз,
И о ресницу прохладный воздух
Призрачной стрекозы.

Как эта мягкая сонь редка.
Сентиментáлен зазы́вный звук,
И зачаро́ванный смотрит, как
Кру́жится брónзовый жук...

Двѣсти фúнтов золотого мя́са
С голубой лиси́цей как описать —
Ее перси — облачный пейзаж,
Ее плечи — это с ума сойти,

Ее женственное благородство
В жесте, в по́ступе, подобной езде,
Масляни́тость полуоборота
Луковицы в гнезде.

И глаза. Да нет, надо видеть
Плутова́тую неви́нность их дум
В апельсиновой сердцеви́не,
Заморо́женной во льду,

Где ши́рмами до́льки золотца,
Растягиваясь и сводясь,
Играют точно два солнца,
Которыми лучи́тся вода́.

А нóздри! Ведь в них затерян
Ре́бус философских атак:
Реа́льнее всех мате́рий
Обая́тельная пустота́.

О, моя дорогая валькирия,
Опущенная на проспекте!
Какая, какая лирика
Достойна тебя воспеть,

Когда твои, Тата, изогнутые
Губы смеются и ма́нят
И на зóрях плеч твоих — окна
Как в петербургском тумане.

А впрочем — и снова челюсть крута,
Кнопка — и вваливаются татары
И по женской фигуре гитары
С крылатой струной — секретарь.

И в озерной раме на сером гвозде
У рупора трубки, в креслах крылатых,
Черный рыцарь в хромовых латах
Меховые брови воздел.

Гундо́сит Кулагин: „Это что же, ничего да?
Сашка вчера задержал меня,
Сегодня всех приехавших с 17-го года
Приказал комендатуре разменять“.

Лошадиных гнуса́вит: „Антошка Кулагин
Персонально пределяет меж своими
Муку́ и сахар и прочие благи
И в списках ордеро́в его имя“.

Гай хладнокровно стиснул мундштук,
Так что дым из трубы раздуло,
Так что бережно звездающие мечту
Зрачки нацелились как дула,

Но киргизы, подъехавшие с дальней Алчи,
За-раз галдят с раздраженьем и мукой
И не могут понять, почему он молчит
И бородкой пера играет с мухой.

Кулагин явился. В чьем-то манто
На сером шелку под котиком. Пауза.
Гай: „Тэк-с... Ну, что ж, брат Антон“.
Выдвинул ящик, нащупал маузер.

Кулагин понял. Полиловели губы,
Но по глазам заметалась жизнь —
— „Товарищ Гай,— я буду служить.
Вот-те крест. А касательно шубы-с...“

Пуля имела модный чекан
И мозг не вытек, а выпер комом.
Четыха срочно переброшен в Чека,
Лошадиных стал Губпродкомом.

Гай говорил. В лицо не глядел он,
Железом звучал его лозунгов лязг:
— „Каждое зернышко — пуля белым,
Каждая ниточка — им петля“.

Он никогда не размазывал: точка;
Дважды-два; буки-аз=ба.
И Сашка в гипнозе бежал по кóчкам,
И сéйфом казалась ему каждая изба.

Всем. Всем. Всем.
Братва, не щади их,
Комбед информирует только держись!
Лошадиных заслушает. Так. Лошадиных
Примет решенье и проведет в жизнь.

И взвыла деревня. Туго. Нужда ей:
Дыра́ на ноздрé, да ноздря́ на дырэ.
Сашка не знает, не рассуждаёт
У Сашки в кляксах шипит декрёт.

Сашка готовит чернильный вихрь.
Стало быть надо. Он не кисель —
После поймут. И взвизжали бабихи
По реквизи́рованной полосе.

На голос и в причитаньи шла продразверстка,
Истово крестился заплатанный ветряк,
Пророк грома́ми отмахивал вёрсты,
Серча́я на продармейский отряд.

Но Сашка Лошадиных — парняга ретивый,
Сашка вру́бит Советскую власть,

Сашка знает: работа без срыва
Залог победы, рабочий класс...

Черные зори коченели в поле.
На заборе каркала мор карга.
Голод стоял. Был звон от поя.
Ветра в степи. Был гол курган.

Пёрла вошь, в чесотке крапивника
Задувало с ветру, родила трава —
У ней был крестик очерчен на спинке
И мёрла кайсачья и мужичья рвань.

Но съезды и комиссии надежду питали —
Докторес доктринэ с шишками ученостей
Нахмурив морщинас, утверждали: „Питаре —
Способус) лечениэ самый бонус эст“.

Итак — питанье.. Упрятать толпу за
Жиры́ и сахар и соль??
А Вошь, обжираясь, пузыри́ла пузо,
Дрыща́ яйцами в ямки сёл.

И когда по утра́м из загло́хших гря́док
Багряное солнце лучи́ подбьёмлет:
Казáлось, — крова́вая Вошь, из ада
Карабка́ясь, но́жницами лэзет на землю.

И в районе барха́н подняла́сь баш-буза́,
И на пун́кты коммунных па́шен

Поесл в набег верблюжий базар.
Зеленый полковник Мамашев.

И по сёлам слух задымился волбой,
Будто об озеро муравой и мылдой
С конницей в 50 голов
Гуляет партизан Дылда.

А за ним молва голосистая:
Что в разлужьях у волчьего спуска
С прапорами и гимназистами
Появилась какая-то Маруська.

Атаманы в лощине, атаманы на речке.
Путников за зёбры: „Ты чей, паря, а“.
Брызгала разбойничками степь, что кузнечиками
Да поджидала лишь главаря.

Улялаев був такий — выверчено віко,
Дірка в підбородце тай в ухі серга
Зроду нэ бачено такого чоловіка,
Як той Улялаев Серга.

Джаныбек II—1924
Пенза — Самара — Уфа
XI—XII—1924

ГЛАВА 2.

Лило́вые ту́чи. Серое поле.
Умиротво́ренность и великоле́ние.
Пегие бе́резки в золотой боли,
Задумчи́вая кля́ча с га́лкой на ре́бнице.

Вода замира́ла. На дне из-под ка́мня,
Как будто в бутылке; в улитках из ри́са.
Колыха́я пузырь и зева́я клешня́ми,
Зеленый рак мерца́л и тро́ился.

Гуси́ная ста́я тяну́ла к морю.
Вода как железо делалась рыжей,
В белую лазурь проступа́ли зóри
От изморози в пупыры́жках.

И гри́бные дубы́, полусонные, желтые,
Щелка́я в пупики рябой картофель,
Стуком раска́львали жирные жо́луди
На чашечку с хвóстиком и на кофе.

И розовые, пеженькие, чёрненькие хрючки,
Заливаясь петухами и намазанной осью
Суетливо чавкали, крутя закорючкой,
Капая слюни и кидаясь в россыпь.

А меж двух берез наливался запад
У бугра багровой, сквозь листву золотистой,
И листья слетали, слоистые листья,
По красной коже трупный крапат.

Поцелуй о землю, мертвою звонкий,
И вот зарываются в банную осунь;
И на их гусиных лапах, морща перепонки,
Тихо отходила — осень.

А к ночи ведьмы, подъяв на леса дыбы,
С мокрых деревьев скубили перья,
И сыпали хохот и льдистый перец
В венецианские окна усадьбы.

Буря качала волнами ветра,
Снежною пеной шипела,
Петушьём запева́ла, струга́ла ветви
И перебирала Шопена.

Но Шопен не давался, холодный рояль
Щерил зубы и выл под выюгу,
И Тата тушила зазвучий край,
Бледная от испуга.

Каприччио Листа, и танцы Брамса
Капризные пальцы брали
И бельма дыханий потели по глянцу
Черных зеркал рояля.

Но труп композитора с вьюгою оба
В тон нот вылезали
В клыки свечей над воющим гробом
В склеп огромного зала.

И когда казалось, что мир вымер.
И детонации ныли одни —
Сам убиенный Морозов Владимир
Являлся в такие дни.

Молча о плечи билась истерика,
Пальцы пушились тупей и нежней...
По ритуалу выдя из зеркала,
Он проплывал к жене.

И когда в его перчатках начала биться
В кипах летящих нот и книг,
Снизу по лестнице барский убийца
Дробил сапогами к ним.

Ось! И замок отскакивал, залаяв,
Путал портьерный шнур.
По рысьи раскосый батырь Улялаев
На грудь забирал жену.

И, оставя мистический гул и холод,
Удобно качаясь в люльке рук,
Слушала сердца мужского стук,
Слышала лестницы старческий голос.

Сухие коробочки няниных комнат,
Такие, что спичка — и вспыхнут.
Обои в горошку. Диван огромный,
Турецкий такой, да рыхлый.

Лоскутный коврик, шитый руками,
У баржи гружённой кровати
В божничке домашние тараканы,
Такие, что можно позвать их;

Пузатки с вишней, лоснящие запад,
Часы говорящие: „Тата“.
И в клетке яичные гусенята
И нафталиновый запах.

И Тате становилось так спокойно и просто,
И был бы уютен се коробок,
Если б не эта харя в коросте,
Не то изрубленной, не то рябой.

Как это вышло. Когда ...ну, вот это...
Как его. Ну, революция, да.
Так вот, когда объявили газеты,
Что дескать вот — деспотизм труда.

Вольдемар поклялся, что он не допустит
Вызвал уральцев и кайсачьи племена.
Потом мужики, говоря о капусте,
Осматривали комнаты и нуль на меня.

Потом ей сказа́ли, чтоб она уезжа́ла,
Что де́скать ба́рина „тово“ да „тае“.
И вдруг она прониклась такой к себе жа́лостью,
Бедненькая... Ну, за что это ей?

Она была́ уве́рена, что револю́ция —
Это оби́да Не́ба на нее.
И Тата гада́ла бу́квами на блю́дце,
В чем се грех — и моли́лась о нём.

А так как у ней собственный ангел в сердце
(Тата зва́ла его за́просто „Анже́лик“),
Она и моли́ла: „Анжелик, не сердься“.
И вкусные слезы за ушами шипели.

В детстве ей служили три пары ног:
Мадам „Шип-Шип“, Аксюша и „Ку́рица“.
(Она быва́ло в па́кость возьмет и зажму́рится,
По́тому что ведь сра́зу ста́нет темно́.)

Но в Кардсбаде (он лечился от зоба)
Ее обручили. Было забавно.
Ей даже нравилось: она своенравная,
А он такой выдержанный — русская особа.

Он не был красив. Не танцевал вальса,
Но обладал таким властным взором.
И потом, во-первых, как одевался!
А самое главное — что он — Морозов.

Конечно, Ланские — геральдика древняя.
Их предки норманны, но нужно понять —
У него на Урале завод и деревня,
В Ментоне — вилла, в Москве — особняк.

И началась жизнь — чудная, прекрасная.
Предпишет из Парижа: „Сделать ремонт“!
А приедет: „Боже, у вас пахнет краской!..“
И тотчас укатит на какой-нибудь Monte.

И вскоре знаменитый в ямочках круп
Облетит статуэтками все курорты юга,
И все уже знали: русская белуга
Плывёт метать золотую икру.

А какие камни: один сандастр
По имени „Байрон“ — чёрный, как кровь.
И ледяной калланс — „Первая любовь“,
Спектральными туннелями звёздастый.

А какой в Москве у нее салон,
Как ёдкий и дипломатичны улыбки.
И все влюблены. Чуть вечер — „Алло!“ —
Юрочка Гай или Котик Билибин.

Ах, Гай... Он любил о Тате погрёзить.
Но как! Вслух и с латинской солью:
— „Я Ваши ноздри сравнил бы с фасолью,
Если бы в ней хоть капля поэзии.

А впрочем... fa, sol (он трогает клавиш) —
Не это ли формула Ваших ноздрей?“
Вы сами понимаете, что яд этих стрел
Никаким равнодушием не расплавишь.

И это вовсе не по ее вине
И если Морозов надует губы,
Улыбнется, распускаясь как жемчуг в вине:
— „Вот таких-то, моя дудочка, и любят!“

Вообще — жила. Такая милая, лучшая,
Самая лучшая (нет, я беспристрастна).
И вдруг — такое. За что? Престранно.
Совершенно. Абсолютно. — Революция.

Осталась одной. Но ведь это же яма ж,
Ничего не умея работай. А как?
Ну, вот и вышла пока что замуж
За самого дошлого казака.

И дёдовский дом Морозовых рúхнул —
Улялаев забил колоннадную дверь,
Выбрал из флигеля 2 комнаты и кúхню,
Вырезал землицы десятины с две.

Три раза проходили здесь белые войска,
Три раза усадьба возвращалась бы Тате,
Но что за смысл судиться, искать?
Все равно большевики снова прикátят,

А рáз тák — Улялаев за белых.
В драке за землю он их ненавидел —
Но все обошлось в самом лучшем виде,
И теперь мешали красные. И он не терпел их.

И верно: у него теперь барское хозяйство,
Голландки, сименталки — молóчные козлiцы,
А эти придут — заорут „да здравствует“,
И сдавай на учет и жди реквизиций.

Но когда он услыхáл, что генерал Субботин
Перевéшал весь Ревком их губérнии —
Успоко́ился враз, да́же принял на работу
Какого-то очкастого, беглого наверно.

И вот теперь ба́рствует — никаких забот нет,
Хитёр да сме́тлив — всех позаклепал.
Девять ран, так на войне уж не работник,
Эта власть, та ли — он сам себе пан.

Но ныла в Улялаеве ссадина на сердце:
Купил он вот кусо́к молодой жены́.
Она скучала в мезонине в óкна над сенцей
На малявинское масло сарафа́нных жниц...

И Улялаев сатанел: он у ней не 1-й,
Но только чуть дотронется — и пошла ловить.
Законного мужа не голубила, стерва,
Плакала до хохота, говорила „вы“.

Но понимал кавалерюга — не заматывзл с^илищей
Это, брат, панночка, кровей голубых
И, нарывая голодом, мучается, ищет,
Как бы добыть любви.

Берёжно осев на скамеечку, что под-ноги,
Локти в колени, мизинцы в губу —
Думал: „Та разве ж тобі загублю,
Цапочка моя родная“.

И каждый вечер с ней, но один,
Просиживая в безысходной грусти,
зыком изнутри по зубам выводил,
Самого стесняясь: „Тата“, „Татуся“.

Но, в этот раз отсидев полчаса,
Обула на плечина кожух на ваксе,
По живую душу пошел он до „Васьки“
И долго в пашине плеси чесал.

И „Васька“ паркой теплыню вздыхал,
Оттеня в темноте фиолетовым глазом.
И так было тихо, что даже доха
Шипела, когда в ней клещатик лазил.

Но вот Улялаев выкатил гербы
И в этом Лжедмитриевом рыдване
Двух верблюжих идиотское рыданье,
До плеч заплывало в сугрѣбьи горбы.

Не выдержал. Выехал матѣрой Кирилыч
Искать ведьмовки или колдуна:
„Киземет, осы! — прошю тоби: вылечь;
Донские дензнаки выкладу — на.

Щоб вона влазила на пидоконник,
Мене выглядаты — дай приворот“.
А дома-то, на хуторе-то снаряжались кони
И на трубе сидела пара ворѳн.

Чемоданы, сак-вояжи в ярлыках Эзонцо
Бесчисленных Виши, Кастаньол, Ментон.
Серый капор на черном манто,
А глаза как флаконы солнца.

Взбежал батрак, да обряжен как.
„Тата“.— „Гай, наконец-то“.
„Ты меня заждалась, лебязежка,
Снежинка моя, невеста...“

Пара ворон, распахнув веера,
Еловою шишкой взъерошась,
Сутуло махали, ныряя в буран,
Лапой звезда порѳшу.

Один, солидный, имевший нагул,
Присев на кибитку, взял ноту Каррузо.
Другой с удивлѣнием выпятил пузо,
Комически раскорячась в снегу.

В сани зверѣя налѣзла доха,
Сунула за пазуху хохочущую шубку.
Меховыми хлопьями заносил шурхан,
Мороженым наслаивая дюны на порубке.

В пене поземки, в снеговой дым
Нервная звала и торопила дорога.
„Тепло тебе, Тата?“ Дышло — дыдынь.
Коренной оглянулся — „Трогай“.

Винный запах ноздрей ожог,
В голосе душные звуки.
Свернулась на нем в пуховой снежок
Лебязьи обвили руки.

О подбородок пальцами Брамс,
О щеку ресница нежится.
Нежно всасывает я к губам,
Остановилось сежце...

Вороной строевик да крестьянко куцый
Кóлики ног зазяблых,
А щеки-то, щеки — крепче яблок,
Так что нельзя улыбнуться.

Буран затих. Распашная езда
Переговариваются копыта,
И Тате из ямы крытой кибиты
Видна лишь одна голубая звезда.

И, может, на самую эту звезду
Смотрел полудремой в кибитке Пушкин,
С таким же снежком на бобровой опушке
И так же сквозь дырочку ветер дул.

Вдруг стали. На низовой
Вопросительный посвист, полный вибраций,
И вот о снег полнозвучно бряцнет
Красной мочи горячий звон.

И вновь останвятся; через фут.
И другая лошадь, слегка изгорбясь,
Выгнет хвост, но сделает — ффт.
Немного подумает и дернет корпус.

И снова звезда. И на взгорьях круп
Черной луной взойдет из-за пуши,
И снова нырнет. И баюкает уши.
Кры? Кру. — Кры? Кру.

Так о чем она думала? Да, Оренбург.
Лошади всюду всегда одинаковы.
Здесь их слушали Пушкин, Аксаковы,
В этом нитье снеговых бурь...

А над дохою в черном углу
Золотокрасный вспых папиросы
Выхватывал ноздри, стеклянную россыпь
И чёрных глазниц лепную глуть.

Гай размышлял: „Я, как стержень, обвйт
Проводами партии и пролетариата.
Я — организатор, я и лектор, я — оратор —
Имею ли я право даже думать о любви?

И куда я везу ее? К революционной чёрни
В будни, напряжённые до невралгии,
Когда в утренний час не предвидишь вечерний,
Учёл ли ты это? Нет. Не лги.

Да — это так. Но тут существенное „но“.
Что она. Гарёмное животное, не более.
И в ее сознании жизненное поле
Лишь будуарная ночь.

Но если сознание — отблеск бытия,
То переплавить женщину в партийной плазме
Разве не заслуга? Не подвиг разве?
Кто же это сделает? Может быть и я“.

Нет, не то. Это всё казуистика
Просто, дорогой, потянуло на ласку,
И сколько ты тут зубами ни ляскай,
Это любовь. Вот ее-то и выстегай.

Сто́й!“ — Демаркационная линия.
— „Откуда. Куды?“ Земля́нка. Заги́б.
Лошадиными мо́рдами, ссыпа́ющими иней,
На звезду́ наступили казаки́.

Гай подумал: „Тут я и умер“.
На миг. Но в ребре́ заработал винт.
И солнечным зайчиком перебли́кнул юмор,
Когда он швырну́л документ: „Лови“.

Сивый урядник, неграмотный, ночью
Вы́сек зажигалку и суну́лся бруне́т:
„А-эн — ан; ле - и — ли; Анализ Мо́чи“.
(Иностранец до́жно.) Эми-ы... „Сахару нет“.

„А печать на месте?“ „Печать без сумленья“.
И тронул лошадей нерасстрéлянный чеки́ст.
И мча от хохота рухну́л на колени,
Рыдая в железные очки.

Воротился Улялаев на верблюжьей па́ре
Толечко-только белой зарей.
Распахнуты ворота. Не выбегает парень.
В конюшнях с яслей стрельну́л хорёк.

А в же́нной светёлке, где во́здух напры́скан,
В коптящей лампе щипцы́ для волос
На туалетном столике синяя записка:
„Про́щайте — уехали. О - сь“.

Прыгну́л вниз. Перебро́сил че́прак.
Хватя́ с ме́ста. Ко́нь с ног.
Сугро́бы ша́раха́лись. Сне́жный прах
Рва́лся я́мско́й, степово́й и лесно́й.

В чугу́нный гуд шестиле́тний „Воро́н“
Массивно́й кости́ густо́й жеребе́ц,
Перси́ разду́в о вспы́льчивы́й коро́в
Без се́ти прожи́лок и жи́ра без.

Зелено́е мыло, запе́нив на-земь,
Космато́ дымя́ чернобы́льник волос,
Отливая́ по шку́ре в со́чном обма́зе
Лило́вый, сини́й, багровы́й лоск —

Жужжит в распахе, оскáлясь белка́ми,
Перстопом копы́т отбивая́ зарю,
Он жужжит, споты́каясь звезда́ми о ка́мень,
Селезе́нкой коротки́й чрева́ хрюк.

Мы́шцы ны́ряли. Вновь нарыва́ли,
Вылепливая́сь в бараба́нной мяздре́ ¹⁾.
И трепыхáлась в полет, в порыва́нье
Летучая́ мышь ноздрéй.

Весьегонск. XI/1924

¹⁾ Мяздра — внутренняя поверхность кожи; изнанка.

ГЛАВА 3.

Ёхали казàки, ды ехали казàки,
Ды ёхали казàһа?ки чубы пà губàм.
Ёхали казàки ды на башке па?пахи
Ды нàб'шке папахи чèрез Дòн дà Кубàнь.

Скулы непобриеты между-зубàми ўгли
Пы каленям лея наварàчивает — „Нно“. Эх.
Кòнские гриевы ды от крови? па?жухли
Ды плыло сàло от обстре?ла в язвы и гнòй.

Дòбре, лошадиёла, что вышла? от набèгà
Опалило поры?хом смердúчье полымè,
Тòльк штò там зàвтра ды наш жизнь? ка?пèйка,
Ды не дорубит шàшыкà — дохалòпнет пúлемёт.

Кòни-вы-коняёги. винтовки мèж ушàми.
Сивою куку?шко?й перкликáлись подковы.
По стéпу курганы, ды на курган, ам?шàны
Ды на емшàн „татàрыкè“ да сивàй ковыль.

Гайда-гайда-гайда-гайда—гай дала райда
Гайдайра гайдадида гай да лара (свист)
По степу курганы, ды на курган емшаны,
Ды на емшан „татарыкы“ да сивай коо?виль

Конница подцокивала прямо по дороге,
Разведка рассыпалася ще за две версты.
Волы та верблюды, мажарины та дроги,
Пшеничные подухи, тюки холстин.

Из клеток щипались раскормленные гуси,
Бугайская мышь, поросычье хрю.
Лязгает бунчук податаманиха Маруся
В николаевской шинели с пузырями брюк.

Гармоники наяривали „Яблочко“, „Маруху“,
Бубенчики, глухарики, язык на дуге.
Ленты подплясывали от парного духа,
Пота, махорки, свиста — эгей...

А в самой середке, сплясанный стаей
Забрицких бандитщиков из лучшего дерма,
Ездит сам батько Улялаев
На черной машине дарма.

Улялаев був такой: выверчено віко,
Дирка в пидбородце тай в ухі серга.
Зроду нэ бачено такого чоловіка,
Як той батько Улялаев Серга.

А за ним вороной — радужной масти,
Ночь, отливающая бронзой и рудой,
Дед — араб, отец — Орёл, а сама matka
Из шестой книги дворянских родов.

А за ним — конная. Косаки, табуны,
Кухня, палатки наряданныя. Щербатая дюймовочка, волчьи бунты ¹⁾,
Тачанки с пулеметами, зарядный ящик.

Ехали казаки та ехали бузуки,
Дэ свороты́ли — осталось на льду.
Капытска печатня, зеленая грязюка,
Навозна юшка та самогонный дух.

Деревни объезжали — в хутора́ засезали,
В хутора́х хозяева — милости прошю.
Атаману с есаулом парят и жарят,
Казакам каши, борща́, поросю.

У которой лошади шишка, подпезье,
Язва, лизуха, або так мокрецъ,
Хуторяны сменивали на сухих и свежих,
Купоросью пичкали, аж поки окрен.

Ехала банда по тому, по березаю;
В бубен тархтел передовой головорез.

¹⁾ Бунт — влека мушных шкур.

А подле атамана, попригнувшись, как заяц,
Под галбон проходил подговбор главарей.

Маруська тянула непременно на Царицын
(Там у ней любовник заваялся — ей бы с ним)
Дылда был против: на город не зариться.
Князь Кутуз-Мамашев: обождать до весны.

Маруська тянула: „Да разве ж это жизнь?
Что мы тут такое? Воришки, тьфу!
А там — мы крестьянское движенье, анархизм
Попадём в историю — это вам не фунт“.

Дылда, гениальный молодой галченок,
Никак не старше 19 лет,
Имевший на поясе турецкий пистолет
И около десятка удавлых ополченных,

Дылда, бесшабашный, забубенный, горький,
В наклеенных усах; но Улялаеву „тёмный“.
Зимой и летом носящий на тёмени
С хвостиком донышко арбузной корки,

Дылда был против: „Тута ворон — знакомый,
До чорта маманек, тачанок, кобыл.
Чуть понапрут — мы айда и дома,
Пойди разбери-на, кто у банде-то был“.

Князь Кутуз-Мамашев, хищный и мудрый,
Ус по-китайски лысый кусал.

Та́йною мы́слью ошю́рилась му́рда́
И потно под ним прокипел кайсак.

— Джирайда. Сугласен. Набег на город,
Там укрепится, а пустепенно
В канарах грузить по аулам—пóрох,
Стягивая в банду киргизлар из степей.

А пúсле: Ночью. Выползть — и ч́жур!
Загнать гиньджял Улялаеву в сёрдце.
У русских перерёзить, как бараний гурт,
И поддаться под зна́мя Турций и Персий.

Уй-баяй. Сам он будет хан,
Сорва́в мурун-дук российского ига.
И шлапачок наездника наизна́нку пры́гал
По брюхо прова́ливаясь в барха́н.

А сам гайдамак развалывся та таяв:
Трясца ё матери—дівка права:
Вождь анархистыв Серга Улялаев
Иде на войну за наро́дны права.

Вин не допúстыть ны яких безобра́зьев,
Три дни на грабеж, а тамо — цыц. Ны гу-гу!
И уже расплывались Пугачёв и Разин
Под Улялаевщины гул...

Ка́пая солнцем, закарта́вила труба,
Заливая уши расплавленной медью,

И́ долго было звонить и греметь ей,
Пока собиралася ра́да руба́к.

Тут были гу́нны — верблю́жники из Азии,
Крестьяны с онуча́ми и козьей шкуро́й.
Суровые Дюма - отцовцы южных гимназий,
Керенские прапоры и волки Шкуро́.

Пока́ труба́ — тарирора — грасировала тра́-тара
И разбуха́лся о́блаком под лоша́дьми́ снег,
Вылез пейза́нин с жёстами ора́тора
С затертыми подте́ками от ла́пок пенсне́.

— „Братва́. Мы сейчас выступа́ем в похóд,
В похóд, если хотите — кресто́вых ры́царей.
Мы должны́ устроить бо́йню пехóт
Красной республики — Цари́цына.

Какая нам разни́ца, где нам слечь?
Днем поздней или ра́нее.
Вы умрёте, но по́мните, что вашу честь
Почт́ят в Учре́дительно́м Собра́нии“.

Улюлю! Го-го! Доло́й! Подавы́сь!
„Геть к чертя́м! На чурба́н его!“
По стрибо́жьим низи́нам язы́ческий свист
Миза́нца и безыма́нного.

Растопы́рив ковбаски своей пятерни́,
Батько, да гавкнув: „Цыц“ он.

„Сынки. Як я бачу, нэма вже дурных,
Щоб за смэртыю поіты на Царіцын.

Ни. Я гадаю — не худо було б
По карбованци в ту полосу иты,
Тылько хто боітся може пули у лоб —
Хай сидэ пид юбцей. Голосуйтэ“.

Папахі на пиках тысячами пугал
Замотались мохнатою горой.
И опятэ по отрядам во всю степугу
Выдробил банду барабанный горох.

И таборы двинулись. На ветру выгоря,
В храпе задаваясь перед полком,
Под буркой Дылды крылатый от вихря
Голубой в яблоках ёкал конь.

И вдруг лопнул. С визгом железо
Запело — и, ввипчиваясь в мороз,
Стеклянным звоном в рошицу влезло,
Корчуя петушьи лапы берёз.

Улялайцы сдрёфили. Отдали поводья.
Задние в шпоры и айда, лататы.
Улялаев спокойно ўхи поводит:
Смотрит сакли аула та тын.

Смотрит: воинская кухня, телеги.
А на горизонте погромыхивает бой.

Вот звезданула буденновка. Егерь.
Ага: это красный обоз.

И вдруг рябью пулемет татакнул,
Под-гору всего в какой-нибудь версте.
Прямо на обоз в рассыпную атаку
Чьей-то конницей палит степь.

Белые с тыла зашли на займище.
Вот из револьвера рвется дымок;
Вот уже сабли хищно хлыщут.
Баста. Не воробьются демой.

Старый к своим совам приладил бинокль
И карликами в круглый аквариумплыли
Силуэты всадников, заостренный оклик,
Спирали ветра в пыли.

Обозная прислуга под обстреленный воздух
Порубила посторонки и пошла тупотиться,
Но туша битюжьего тяжсловова
Не легкий аллюр кавалерийской птицы.

Медные монументы гробота качая
Только распахивали землю зря,
И подкидываемые кашевары в отчаянии
Дули бестолково берданный заряд.

Черные юнкера летели на голь.
Словно гардуя в Петербурге на манеже,

И в школе, отпу́щенной, влюбленно зане́женной,
Саблей настреливали синий огонь.

Но кое-кто вырвался. И в рóспыхе шинели
На миг мелькнуло золотое жерсе.
Тата. Татуся. А в сугрóбах келья,
Где на кровати распоротый корсет.

Там еще на столике лебязья пуховка,
Глазастая сúмочка из кожи змей,
Там еще в трелья́же — раскосонькие бровки,
Ра́дужные зу́бы, губыньки мои.

Да еще в ноздрях его, как молоко крепкая,
Женской испарины неистовая даль;
Да еще на пальцах ускользающая лéпка,
Упругая как ветер, нежная как вода.

При ней батрак. Он лупит коня́ ей
И что-то кричит, да видно охрип.
И вдруг свали́лся коню под махры́ —
А сзади в опор гусар нагоняет.

Долго ли с девкой? Берут наповал их.
Вот перелаяпил к себе на седло.
К лесу пошел теперь заморенный валах...
Шпорит, шкетюга, отгибает ей лоб...

Эх-ма!
Улялаев був: выверчено віко,

Дырка в пидбородце, тай в ухі серга,
Зроду нэ бачено такого чоловіка,
Як той батька Улялаев Серга.

„Айда, нашша!“... Вылетал батька
Над желтым клыкб́ом рыжебривый рот.
Ду́лю ж вам, шайта́ни, нехай вашу мать-ка
Скрозь брюхо в рот и навыворот.

Жах! Врубился! С чо́ртовых ног
Взды́бил над шкётом гриву в дым,
Брызнул в горло лунный клинок
По самые никуды... Мм!!

Гривы, гривы. Ордынская банда
Лезла как попало в свой орущий базар,
Пока запрыгал горóх барабана,
Пыльный пёх резервных казарм.

Черный блещью, в óблаке ма́рев
В дзаза́нге скакал каноннадный парк,
Як выйшла над гаем сизая хмара,
Сизая хма́ра, багрóвый пар.

Аул Урда
(Ханская Ставка)
III-1924

ГЛАВА 4.

Буранск — город сытный. Хлебный вывоз
3.000.000 пудов в год,
Кожьё, джебага¹⁾, пушнина, грива,
Кони, нагульный скот.

По жилам рек пивоваренный сброд,
Выкунев, стал подюже расти;
Жирные залежи голубой соли
В 300 вёрст по окружности;

Кони табунами пасутся в дикости,
Зём по-над берегом — плюнешь растет;
Сочные поймы некуда выкосить —
Их обжигает степной костёр...

А рыбы-то, рыбы... Судак, жерих,
800.000 осетры одной,

¹⁾ Джебага — ордовая овечья шерсть.

Черной икрою хлещется в берег.
Яикушко — золотое дно.

Парус у этих. Багор у иных.
Дует моряна¹⁾. И по моряне
На мытых расшывах плывут поморяне
Овчинниковых да Махориных.

А утром равенько, в синий ковыль
Капают дөгтем гужі на Саратов,
А их доглядает брюхатый старатель
Махориных да Овчинниковых.

Яицкие земли. Казачий почин.
Крепко жили станишные братцы —
Все кулугуры—старообрядцы,
Все шепелявые бородачи.

Триста лет как барщинный смерд.
Ролейный закупа, холуй, челядь
Утек на Яик воевать смерть,
Позабыв на Руси, как и жамкать челюсть;

Триста лет, как эти край
Окармливал кровью до пузырей снизу
Харалугом поскребанным башку кроя,
Выхлещиваясь в дыры от копыя киргиза;

¹⁾ Моряна (Уральск. обл.)—ветер с моря.

Триста лет своевольный цуг
Войсковых атаманов, старшин, хорунжих
Оберегал свою вольницу
От Орды, Петербурга и всяческой Унжи.

Триста лет. А теперь — вольготня,
Что ни казак — 50 десятин,
Что ни хутор — голов до сотни,
До тысячи и до десяти.

Вот в силу причин каковых
В соленом золоте на благолепьи
Боем стояла казацкая крепость
Махориных да Овчинниковых.

И когда казакам объявили, что нехристь
Мордует Расею на жидовский шкиль,
И когда на форпост-кавалеры наехали,
Кое-как подобрал кишки;

И когда над трупьями грызлись волки,
Карга дылдыкала, копалась коза, —
Из рога табачок с вязовой золкой
Понюхал истово уральский казак.

Натянул он верблюжьего пуха чапан,
Полушубок мерлуший, крытый китайкой,
Сак-сачий тулуп. Соленая нагайка
От дурного глаза — сайгачий пант.

И пошел копытами в поход по пашне.
Бороды зайндевели. От самых пар.
Осели на берег. Насупротив мар ¹⁾
Занял Четыха, красный маташник.

У Четыхи шапка — соболья душа,
На плечах кафтан — ала бархата,
У того ли у Четыхи губы алые,
Губы алыс, сапожки яловые.

Четыха — уральский казак-рыболовец,
Он улавливал щук, кому шубы шьют,
Потрошил белуг — лаковые ножки,
Глушил осетра,
Что кунецкого туза.

Апосля того сказал:
Дуй, босота, на базар,
Сграбим лошадь карюю,
Накормим пролетарию.

А спымали Артёмия Ива́ныча,
Комиссара правды пролетарской,
Цедили ему груди красносokie,
Пытали его точку поведения,
Все его составы поворачивали
В обчем и целом дивствительно.

¹⁾ Мар -- холм.

А и вышел декрет Четыху казнить,
Смертию казнить — не помиловать,
Но Четыханька-от он догадлив был,
Он срезал свое ухо на лодочку,
Лоскуток живота пошел парусом,
А жилушки на канатики.

И пошел он завтра на шафот-на плаху,
Поклонилси на 4 на стороны,
Взговорил постным голосом:
„Ой, вы гой есте, господа-товарищи,
Спрошу я от вас об милости,
Об милости, о последней,
О последней, что водицы испить,
Водицы испить ледяна ключа“.

Поднесли разбойничку ковшик воды,
И плеснул Четыха об лодочку,
Где вода пошла — тута озеро,
А где лодочка — там корабль плыл.

А Четыха с кормы улыбается —
„Не журитесь, не забуду вас,
Дождайте как снега тронутся“.
И воротился будённицей.

Так и стояли. Эти и те.
Перепоыхиваясь винтовкой,

Когда Улялаев рекогносцировку
Выпустил на буранскую степь.

Ему не повезло под Царицыным. Битва
Белых с красными. Всех частей.
Пришлось драпануть и опять меж рытвин
Конной армией оплясать степь.

Покуда залёг. Набивались ободья.
Лошади кова́лись и вышнёривал мозг.
Вернулась разведка, доносит: свободен
На Чаган - реке металлический мост.

К вечеру воротился гончий:
Фронт большевиков и казачих орд,
Но в городе так, ерунда - гарнизончик,
Каких -нибудь пара - другая рот.

Так. Прекрасно. План испытан.
Выждать ночь, кавалерию вплавь,
Обоз, обмотав обода и копыта,
Прошепчет рысь меж боевых лав.

И в мохнатой темноте тронулся лазутчик,
За ним в одиночку конь загонял,
Но тут в мост, отдаваясь тучей,
Вдрёбезги медь бризантного огня.

Хищным залетом отзыв засвистал.
Обозы попятнулись. Скупалась кавалерия,

Но выделёял мост анархистский стан
И базаром осёл на подгорный берег.

Костры́ в снегу зачади́ли подку́рой,
Говор киргиза, хохла, казака́,
Меж возо́в на веревке, горя как закат,
Суши́лись жаркие лисьи шку́ры.

Се́ном и соломой завален грунт,
Жеребята заливались в дискант тонко,
Мозо́лями бодался бычок игрун
Средь гру́ды зимней анто́новки.

Кто-то плясал под дудочку — дуй его.
Пауко́м по дырочкам ногти от хны́ —

Как на зорь-зорь-зорь на заре.
Как на?зори́ке — на зоре? На заре
Выходили в поле ти́?хое
Жук-моги́льщик да с орли́?хою.

— „Ты, орлиц-выдь-замуж за меня.
Ты, ор?лица, выди заму?ж за меня.
У меня ли у хрестья?нина
Будешь сыта да пи?тансна“.

Гоп-чук-чук-чук гопана
Поп нопике поперек пуа понал,

А попи́ха осерди́лась вся.
Да попе́нком разре́ши - ла - ся.

Вот стали они думать да гадать,
Поп с популей стали дума́ть, да гадать,
Спозара́ныку да доо́ночи:
Кем ба быть тому по́пёночку.

Кем попе́ночку, да кем бы яму бы́ть,
По́реши́ли: комиссаром яму бы́ть,
Не воюет, не бороо́нит, чай
Айда - себе телефонничай.

Глухонемой верблюжий хныч
Раста́пливал басом бу́йвол.

Он был величественен — почти лось,
Воздух пел саазом, зурна́ми.
По небу хло́пало и тащи́лось
Черное дырявое воронье знамя.

Желтые, красные, зеленые, си́зыс
Чуйки, махновки, да так барахло;
Саркастические рожи адайских киргизов,
Свинные ха́ри хохло́в..

А из них там и тут подымает к верха́м ствол
Черного ви́сельника, где плакат:
„За комиссарство“. „Смерть кулакам“.
„За белогвардейщину“. „За хамство“.

И тут же у виселиц — чорт с што:
Грамофоны круты́ми яйцами жирéли,
Лошадиный борщ и казацкий штосс,
А на лысине снега арéна зрелищ.

Сердито болтая, кружится, хлопочет
Золотосинечервонный петух,
Пока подпущен на - лету
Рябоватый кóчет.

Взял с карьера — прыгнул в бой.
Тот нырнул — он вперелёт.
Пышноперое жабо
Черный королéк.

Нос к носу. Яйца щек.
Звонких крыльев, голоса.
Пф! Перья. Пф! еще
Хвост ошипан, гол и сам.

Алый снег пушит - снежит,
Астма, брызги, звезды лап,
Пф! перья — шкóра - жиг!
Каюк — брат. Сдала́.

Этой славной битвой под кострóвый угар
Забрызгана брезéнтная палатка без пуха,
Где, тухлым грибокóм от мороза опухнув,
К кольцу́ привязанный трясса Гай.

К нему иногда прибегала Анютка,
Прислуживающая Тате,
И громко шипела: „Барин, а? Ну-тко“
И просовывала женское платье.

Но óбок — обшитый кошмо́й балаганчик
В плакатах, приказах, колонках цифр
Под черным знаменем боевых команчей:
Череп и скрещённые берцы.

Там атаман. С любовью поздней
У слоя краснопегих овечьих шкур
Сидел на барабанчике в детской позе —
Локти в колени, ладо́ни в щёку.

А на овчи́нах, па́хнувших мятой,
Видя какие-то дивные сны,
Глубоко спала́ усталая Тата
В синей полумаске от те́ни ресни́ц.

Никого не впускать, кроме девушки Не́лли,
Наивно отдав часовому наказ —
Она зарылась под медве́дя никола́евской шинели
У жужжа́щего казанка́.

Милос такое, в паути́нке симпатии,
Ли́чико, где от поду́шки на́спан узор.
Над ковро́м подра́гивала кисть ее платья
От шумного база́ра азиатских орд.

Стремя́нным ухом к губа́м приложи́лся,
Слушает нежный подду́в ноздрей
И от щекота́ крящ неуклюже пружини́лся,
Губы раздува́ло как на костре.

Высох язык. На губа́х рогови́ца.
Ледо́к под колен́ками. Томя́щая печаль...
От сна у ней но́сик жирко́м лосни́тся
И пахнет под-мышками размо́кший чай.

И стал он какой-то глубокий и пористый.
Что такое золото, слава, власть!
Вот оно счастье — и как оно просто:
Нежное дыханье, душистая влажность.

Вот оно счастье, захлёб этот, пыл, да
Такое вот, что хочется сейчас же умереть...
На круто́й лошади взды́бился Дылда
Из-под бараньих морей.

За ним на аркане мота́лись крестьяне.
Дылда докладывает: „Во. Спionaж.
Как пошла отстреливать — которые поранены,
А вбитых чичире — и всё, гад, наш.

Тые вон — засы́пались тама в кукурузьи,
А этый цу́дик винта́ в кусты́“.
Улялаев гыгыкал, держа́ся за пузо —
„Хай им чорт, байстри́окам. Отпустить...“

Дылда изумился. Но его не касается.
Притянул повод, раскусил узлы.
И мрачно отъехал хмару излить,
А те-то — тютю... через ямы, как зайцы.

Серга ради шутки пугну́в „Го-ё-ё“,
Ухмыляясь, верну́лся назад в балаганчик.
Тата во сне оплывала, как раньше.
Какая она вкусная, как много ее.

Кровожа́дарь влюблённый, притухший охальник.
Громоз́дко на цы́почках у пухлой кошмы́
Снова присел послушать дыха́нье,
Будто в раку́шке море шуми́т...

Кры́лья ноздрей. (Пересо́х, задохну́лся.)
Кры́лья ноздрей как глётки сосу́т
(Опять озноб), парну́ю росу́.
(Опять по виска́м перепрыгнули пульсы).

Тихонько - осторо́женко пуговку на ли́фе —
Удивлённо вы́катилось спелое ядро́.
И вдруг гривистой ла́пищи дрожь
Отвырну́ла медведя на бо́ченок с олифой.

Вот она: вся. Тут его началò -
Из могучей вару́хи¹⁾ напру́жились вя́зы²⁾:

1) Баруха или баруха — складка на затылке быка.

2) Вязы — мышцы шеи

Шёлковые солнца золотистых чулок
На статных ножках бабочки подвязок.

Молочно-голубой воздух панталон,
Где переливается лунная сорочка.
Где тело лучится... И взныл удалой —
Тата, моя жажdochка, темная ночка...

Пальчики забегали, как в струнах быстрина
„Миленький, не надо...“ Но в орла плотно
Любовь, пронзительная как стрела,
Застрела, звеня от полёта.

Но когда воспалённый уже у гнезда
Седым орлом над орлицей хлопал,
Вдруг любовью торчавшая сталь
Вывалилась, уколóвшись о пол.

Вскочил, зарычал, застонал от стыда,
В пляске запрёггал по лицу мускул.
И вспомнил, что это не в первый: Маруська
Эта, которая там... Да-да-да...

И понял Серга, что голод и тиф,
Расстрелы, задувы контузьего грома,
Этот профессиональных солдат актив,
Никому не пройдет как промах.

Слолочной бог. Он знал наперед.
Он таки-выдумал им отомщенье.
Даже тому, кого штык поберёг,
Вошь пощадила, простил священник,

Даже того, того штык пощадил, да.
Выбежал на улицу — „бісова мать“!
Хло́пцы по коням. В погоню, Дылда,
Тых четырех обратно споймать.

Рванулся назад. В зубах звон.
С низким треском лопались нервы.
Это в щитки его черепа вой
Лаял нерождённый первенец.

Тата бежала, куда не зная,
Платье раздул тошный страх,
Но сзади с коротким топом и лаем
Догонял верхом да на двух сетерах.

Наскочил. Сдержал вороного жеребца,
Вытянул нагайку о раскормленные плечи
И так гонял, иступленно хлеща,
Пока не упала в рассечьях, в рубцах.

А разбойник скакал, скакал, скакал,
Зажмурясь и хлеща волчьих сугробы.
Тата. С какою желчью и злобой
Любил свою панночку, господи, как.

Ворон уже опустился и каркал,
Хромая с подскока — думал, что труп.
Серга налетел, собрал ее на руки,
С отчаяньем глядя на пузырьки из губ.

Копчѣный в ветрѣщах, по-волчьи седой,
Жал ее к сердцу и крепко плакал.
Конь, заплывая, уздой позвякивал
И жалкóнько порипывало мокрое седло.

Льдом и желѣзом пах вѣтер,
Опушая веки голубой пыльцой.
Тата очнулась — и взгляд ее встретил
Резное из дерева, скóрбное лицо.

И счастливым вздохом улыбнувшись в мѹке,
Щечкой прижалась к щетине рыжей.
С обожаньем обняли рассѣченные руки
И в первый раз назвала „Серезжок“.

Уральск
III-1924

ГЛАВА 5.

Вдруг, загудели сонные шпалы,
Дзызыкнул по рельсам гул хоровой,
Поршнями и шатунами вышипая шпáрит
Стрельчато буксуя сиплый паровоз.

В вóздухе просви́станном вóплем истéрик
Над колоколами чугу́нных котло́в,
Над красными теплу́хами и бо́чками цисте́рн
Нервно вари́лся карта́вый кло́кот.

— „Аллюр“. Верхáми узду́ через ров кинь,
А там по рóстоши, где снег хоть и смерз,
На скаку разлетелись чернодубки, махновки,
Заячьи нау́шники с разну́зданной тесьмо́й.

Шибáющая в нос улялаевская ругань
Морозом и скачкой в удар разжена́,
Прыгала в печёнки, селезёнки и по кру́гу,
В бога, в божиху и боженят.

Первые спешась — в зубы нагайку,
Выскубив усій лебединое перо,
Вывинтили на разъезде гайки
И грохнули рельс поперёк.

Паровоз поперхнулся. Бандитский хадс
Осторожно в заезд протянулся в лаз.
Промышленник выскочил на вестингауз,
Крича, что он за советскую власть.

Машинист с молочными глазами от испуга
Не знал — сказать „товарищи“ или „господа“,
Но все же объяснял, что в цистернах уголь,
А нефть в вагонах, только путался в пудах.

Обер-кондуктор поймал себя на том,
Что забыл свое имя, но вспомнил: „Б. Боев“.
А с ним и этажерки, чеховский том,
Муху, раздавленную на обоях,

Пунцовый абажур над лампой, женой
Сшитый из тюля, чтоб было красиво —
А тут — степуга, ветра, „они“ — боже мой,
Какая неуютная наша Россия.

Но смазчик крикнул: „Эй вы там, а ну-кося
Скоро расстрел-то? А то до утра
Надо б еще перестукать буксы
Да подвинтить кой-где буфера“.

Смазчик! здорово! Сердце пружит —
Всем стало весело, вкусно и тесно.
Есть ребята, с которыми жить
И погибать бывает чудесно...

Но Улялаев, обжимая ребра
Бронзовой лошади, щюрил за Чаган¹⁾);
Потом заховал в кобуру ноган,
Махнул хвостом и тронулся: „Добре“.

К вечеру с белым флагом смазчик,
Обер-кондуктор и спекулянт
Шли через мост на казачьи поля
И хором молились: „Господи, аще...“

Хотя каждой Думе отпущен талант спать,
Но тут неудобно: исключительные дни;
Дело такое: специально для них
Прибыл от Деникина угольный транспорт.

Но совершенно неожиданно появилась банда,
Которая заняла чаганский мост —
Она пропустила бы, если бы дан был
Куш эдак золотых в сто.

Что ж. Делать нечего карманы таращась
Заплакали царенками в кожаный рыкун,

¹⁾ Чаган — приток Урала.

И опять с белой тряпочкой через реку
Поджимая колени, ступало „Аще“.

Улялаев сунул мешок за пояс,
На тендере в уголь загруз кочегар —
И четкой чечёткой через Чаган,
Вкрадчиво накачивая, закачал поезд.

Шарики, пузырики, бульбочки паров,
Маховики и кривошипы
Обожрали путь и в сифонном шипе
Состав влетел на перрон.

Еще кóкались об воздух голубые яйца,
Еще тормоз и колеса тянули „сі“,
Но теплúхи в бабах распахнúлись — и
Черные от сáжи айда уляла́йцы.

Дым пальну́л музыкальным гамом,
Пулеметы поливали. Конница в облёт.
Тройки, воздух пёня ногами,
Жженными копытами шипели об лёд.

Дюймóвка разра́йлась — над гóродом гром-бúх!
Сабли турецкой луны ясней,
Срубленные пальцы ощупывали снег,
Головы прыгали. дымясь как бомбы.

Лúжами мёрзла лиловая кровь,
Оползая на снегу географической картой.

Всёло скакал и звенел погром.
К вечеру стихло. Второе марта.

У здания театра афиша: борцы,
Водевиль „Вот так муж“ с участием Ауэр,
А над ним на казацкой пике траур —
Череп и скрещенные берцы.

Там штаб. Двери ударятся.
Выклик: Ермак, Байгузин, Коньков,
И, паром дымясь, всю ночь ординарцы
Пускали своих мохнатых коньков.

И вот из тьмы гундосый квак
Желтый фонарь, голубая шина
И плавно подкатывается машина
С маркой на кузове: „Бенд-Москва“.

И штарчешки шаря галошей крыло,
Шам Махорин в собачьей шубе
Подбирает шкилет и бандит трегубый
Из кузова прыгает чубом на лоб.

За ним багровеющий „Мерседес“
С цилиндром кареты, лоснящимся нагло,
И лихой казачина с шашкой наголо
Купэ раскрывает: „Пожалуйте — здесь“.

Дальше пошла вереница саней
И всюду под саблей быстроглазой и голой

Шинель николаевская, красный окóлыш,
Тонкая поддевка, песцо́вый снег.

И пока партер расцветал в нарядах,
Где щóрился князь, моргал иерей —
Стены выстраивались в часовых нарядах,
С пулеметами с галерей.

Зáнавес вздул свои облака́.
И в пúтанице декораций и па́дуг,
Где мокрой краской ка́пал плакат:
„Собственность — кража“. „Анархия — порядок“.

Из-за чёрного ба́рхата, где череп и ко́сти
Из папахного гнездовья бандитских во́ждей
В шашке, винтовке, нога́не и кольте
Вышел теоретик анархизма Штейн.

Щёгольская рома́новка, на го́лениях бу́рки,
Каких, однако, не носят на востоке,
Торжественное „я“ отара́щенных буркул
И от лапок пенснэ отёки.

— „Гра́ждане. Россия — страна хлеборо́ба.
Из них теперь 70% таких,
У которых при лошадности своя корова,
Своя десяти́нка, свои катки.

Значит в России средний крестьянин
Есть статистически „средний человек“.

Какой же нам смысл в дворянской главе?
Куда ж нас буржуй и партиец тянут?

В довоенное время 70 дворянств,
Считая Прибалтику, Крым и Польшу,
Обладали землёю вчетверо большей,
Чем 100.000.000 крестьян. Это раз.

Что ж они делали? Дабы не хлопотать,
Сдавали кому-придется под ренту.
Приблизительно 72%
Этой земли захватил капитал.

А у буржуя табак не окурок —
Выписав разные „Люкс“ или „Дукс“,
Он по натянутой батрацкой шкуре
Отбарабанивал прибавочный продукт.

Далее, в силу поддержки власти,
Аграрных культур, мелиораций и прочего
Он разорял уже мелких крестьян
И также делал из них рабочих.

Но этого мало: русская рожь
Начинает искать заграничные рынки,
А там, как известно, народец приткий
И над биржей так и зудит мошкарёй.

Ну, тут конкуренция, ажиотаж,
Гусиный шаг на военный затылок

И пожалуйста бриться: Афонька наш
Удобряет землю в братских могилах.

Однако русский мужик — середняк,
Который живет натуральным хозяйством,
Ему ни кулак, ни бедняк не родня,
Он землю свою ни за что не отдаст вам.

Что ему рынок! Свое молоко,
Значит и масло, и сыр, и сметана,
Своя хатенка да белая Таня,
Своя сошенка да белый конь.

Сам себе пан. На мозолях барствуй,
Знай себе распахивай какой-нибудь разлог,
Но вот тут-то и загвоздка: во-первых — налог,
Во-вторых — солдатчина. Как же-с: государство.

Но что ж это за штука государство? Пузырь,
Распухший из патриархального быта,
И, пользуясь тем, что свобода забыта,
Его раздувают попы да тузы.

Но если государство — господский туман,
Так надо же избавиться от этой пѣтли:
Вспомним хоть Гегеля: „Выводы ума
Не зависят от того, хочу ли я, нет ли“.

С другой стороны коммунисты. Ну-да,
Братство, равенство. Что возразишь им?

Но мы задыхаемся, мы еле дышим —
То же дворянство, тот же удав.

Практика жизни и теория у них,
Как хлебный козёл и созвездный овён.
Кампанелла, Фурье, Маркс или Оуэн —
Блестящие фантасты, но не больше, ни-ни.

Нес. Коллектив — это дутая брónь,
Под которым прячутся авантюрист и лóдырь,
Трудящимся же массам это только óдурь,
Как и религия, как серебрó.

Мы, анархисты, подняли стяг,
Стяг беспощадной борьбы с держимордой
За личность, за святость ее, ее гордость,
Во имя и хищников и растяп!

Мы не позволим солдафонским колéням,
Зажав нашу дúшу, ее кúдри остричь —
Все равно из Третьего ль они Отделéния
Или из Особого Отдела 3.

Итак, резюмирую: я призываю
Каждого выбрать — свобода, иль закон.
Надеюсь, что я среди казакóв.
Граждaне — слово за вáми“.

Серга, то вплокé музыкально зевáя,
А то в рассуждéнии ногти грызjá

Рванулся, услыша — „слово за вами“:

— „Слово туварышшу Дылду. (Ты сядь)“.

И вот вышел Дылда. Голый, как язык.
Если даже мама родила его в сорóчке,
То и эту сорочку он стяну́л. Короче —
На нем были только одни усы́.

Но он не дре́фил. Наоборот.
Стоял себе и дул в пупурыжки по коже,
Пока от хиха и хоха корёжился
Этот непривычный к ошущениям наро́д.

— „Гражданы! Ваша нация дюже резва.
Но плакать про это вы вполне достойны.
Вот видите, как ходють богоносные воины,
Каждодневно умирающие через вас.

Теперьча значить наш анархицки́й сход,
Который есть за вас в боях закалённый,
Вынес: просить от вас миллио́на,
А то очень масса пойдёт в расхо́д“.

Партер покрывт. Кабарэтный смех
Зацепился за глотку и полёз обратно.
Как? Миллион? Да в своем ли он умё?
Сколько же это на брата?

Гай дальше не слушал. Он вышел на воздух,
Но сзади напóлзала все выше тень.

„Хе-хе. Ваше мнение: не парни, а гвозди“,
Гай обернулся: „Это вы, Штейн?“

— „Я. Пойдемте, так сказать, в таверну
Пропустим рюма́ху, а потом и заку́сим“.
И Штейн зашагал геометрически ве́рно,
Как человек, планирующий пи́щу и со́н.

И ци́ркуль этих разме́ренных бу́рок,
А, с другой стороны, его лоску́тная речь
Под че́рспом Гая в какой-то но́ре
Классифи́цировалась из сумбу́ра.

Пивная лужа лошадиной мочи́,
Зеленая вывеска — омар во фря́ке;
Трактир „Растабаровка“.—„Мальчик. Очисть.
Пиво, мочёный горо́х и раки“.

Острой бородки гофри́рованный кара́куль,
Смех через ноздри при сжа́тых губа́х:
— „Мальчик. Скоро там? Я проси́л раки.
(Не люблю России — тупа)“.

У Гая была ищейская снасть —
Он следил за его разговорной манерой:
— „Ого, очевидно, скоро весна,
Если даже распускаются почки в мадере“.

Отбро́сил меню, повернулся и встал
Разглядывать стeнные размале́вы для поте́хи

— „Западная живопись изрядно пуста,
Но: обожаю ее, как техник.

Сравните японца; арбуз как арбуз,
Петушьи гребни и пузырьки морозца,
Но рядом гейша — вот такусенький бюст,
Да и вся лилипутного роста.

Варвары — ну, и метод такой.
Другое дело Сезанн, барбизонцы:
Они — композиция, план, протокол,
У них на каркасе солнце.

А тут полюбуйтесь: ведь здесь наши судьбы —
Тыква, банан и... зелёный лук.
Эх, взять бы этот лук, тетиву натянуть бы,
Да и вставить перб: пожалте на луг.

А с поэзией лучше? У Эдгара По,
Который, я подчеркиваю, Пушкину был сверстник,
Стихи наплывают по каплям в перстни
И россыпь акростихов гнездится между пор.

Возьмите Вийона: баллады своих оргий
Он строил транспортиром — не на глаз, а на градус.
Возьмите Маллармэ, с его манерой радуг,
Где „счастье“ одновременно расцвечено и в „горе“.

А мы. Что у нас? Беспризорный Есенин,
Где „вяз присел пред костром зари“?
Да ведь это же Япония, как я говорил:
Огромный закат да под лиственной сенью?..

Вы скажете случайность. Но нет — я берусь
Доказать, что Пегас без хлыста' обнаглел,
Например: „сторожит голубую Русь
Черный клен на одной ноге“.

А где же другая? Утолите мои нервы.
Или от этой ловкости надевать мне панцырь?
Вы себе представили всю грациозность дерева,
Которое балетно стоит на пуанте?“

— „Видите ли, Штейн, я не так закалён,
Но вы-то как сказали бы — любопытно право“.
— „Мастер бы сказал — „одноногий клён“
И разом вогна́л бы образ в оправу“.

— „Ка-кой придира! — а скажите-ка вы
Ну, „медведь ковыляет“ это грамотно?“ — „Что же!
Ковылять глагол от слова *ковыль*,
Значит белый медведь ковылять не может“.

Гай его пальцы на пальцы вздел:
— „Бросимте все эти стихи —
Слушайте, Штейн, что вы делаете здесь?
Никогда не пове́рю, что вы анархист.

Эта точная поступь, этот точный словарь,
Любовь компановки, неприязнь к стихии,
Самая манера расцвечивать слова —
Да разве в шпане такие?

Наконец, этот шахматный ход на трибуне.
Критика урывками из Маркса. А дальше.
Где постулат? Его нет и не будет.
Вместо него истерика с фальшью.

В пулеметном порядке начали браться
Говард и Штирнер и тут же Прудон.
Жалко, Толстого забыли. При том
Из Руссо передержка. (Вы помните — братство?)

Наконец, ваши цифры. Пф. Хо-хо!
Семьдесят, семьдесят паки и паки.
В Талмуде есть пословица: „Семь это враки“.
Но это не безграмотность. Повторяю: ход.

Кто ж вы? По размаху — вы не трудовик,
Для него вы, кроме того, слишком рафинированы.
Что же до эс-эра, то и тут, увы,
Вы не любите России — значит вырваны.

И все же в вас напичкано того и того,
Вы эс-эр в меньшевизме и меньшевик
в эсарстве;

Типичный петербуржец, чоппорно-дёрзкий
С гипертрофированной головой.

Мне так и чудится: а́нглийский кэпи,
Ваш прорезиненный макинтош
И в серых губа́х папироса — „Скепсис“,
Приподнятая бровь и дежурное „Не то“.

И вы — вы сильны́. Нет, больше — могучи
Этой вечной усмешкой бр́итого сатира
Над всем,[^] кто увлекает, зовет и у́чит
Святой банальности о счастье мира“.

Штейн по́днял палец: „Спокойно, сэ́р.
Кружечку пива. (Не мочите мизинца.)
Итак, дорогой Пинкертон, мой принцип
Не отпираться: да, я эс-эр.

Конечно, не такой, как Сазонов или Ропшин,
Я более расчетлив, если хотите — измен,
Но все же я эс-эр, так, говоря в общем,
Конечно, с оговорками и с ревизионизмом.

Но, отдава́я до́лжное Вашей хирургии,
Точной до секунды, как хронометр Бурэ.
Все же замечу — это другие,
А я — до последней кровинки борец.

Ведь большевики захватчики власти
И нужно мутить и мутить народ,
Пока наши люди кого следует налѣстят
И на Западе вопрос хороше́нько нарвѣт.

А там оккупация. Серый террор,
Какая-нибудь Дума, как венец революций,
Но до этого времени народная прорвь
Ни в коем случае не должна затянуться.

Рабочий съагитирован. Интеллигент — пустяк.
Нужно помнить, что такое Россия,
Мы ориентируемся на крестьян
И будем будировать и трясти их.

Теперь по вопросу дня: как?
Партия наша переживает кризис.
Мелкого хозяйчика и средня́ка
Приманишь только на анархизм.

Зато это средство — вернее смерти,
Что ни час — то новый аршин.
Вот вам проект политической коммерции,
Которая в будущем даст барыши́.

Да, виноват. Я горланю, как гусь,
А вы, небось, сидите да на ус мотаете.
Кто вы? И если узнать я могу-с,
Я распускаюсь в ухо. Катайте“.

В памяти чекиста вздулся архив,
Но Гай не тронул его сонной идиллии.
— „До сих пор я, видите ли, был анархист,
Но вы меня, кажется, разубедили“.

Уральск IV 1924

Тверь X 1924

ГЛАВА 6.

Кобылье сало кушали у костров они —
Косые, лопоухие с мяучьей кличкой;
Но гимназёры разочарованы,
Упрямство с отчаяньем гонялись по личику.

Отваги у них прямо римский кувшин,
Да дело не в этом: их меч только вьтяни;
Дело в другом — например: вши.
Этого Сенкевич и Майн-Рид не предвидели.

Не всякий уснет, ночника не спустя;
И потом другое, да-да, это тоже:
Для него-то, конечно, мама пустяк,
Но мама без него, понимаете, не может.

А у них коридор будто уличка,
А на ночь на столике коржик.
Мамочка, моя мамулечка,
Пропадает твой мальчик Жоржик.

И все же, хотя бы их обожрали черви,
Они не уйдут ни за какое золото:
Их сердце, классически скроенное червой,
Пришпилено к имени „Тата“.

И эти две оттененные буквы,
Ее обаятельный облик,
Качались под веками и на хоругвях
В мехах ресничьего соболя.

Это ей то в *andante*, то в барабанном грохоте
Бряцали канцоны, сонеты и рондо
О голубой перчатке, о шампанском манто,
О луночке на но́гте.

Но так и не узнал их рыцарский орден,
Что эти томления яви и сна —
Очередной расходный ордер,
Ибо — была весна.

Чалая козлица с мокрыми ноздрями
Сапнула воздух и сказала: „Май“.
Но она ошиблась — был только март,
Хотя уже снега кипели всякою дрянью;

В клочечках, сучёчках и птичьем пуху
Пузырясь крутилось топлёное солнце
Ручьистыми пульсами, полными подсолнух,
Лопоча́ веселую чепуху.

А потом шел дождь и сбежал по лазейке
Проливным золотом на тухлой заре
И даже лужи, изумленные, глазели
Стоглазьем лопающихся пузырей.

И Тате почему-то было чудно смешно
От этих лупастых лягушечьих буркул,
От индюка с зобастой мошной,
Который, подъехав, ей что-то буркнул.

И то, что в небе налив голубой,
Что воздух, как море — густ и расцвечен,
Что восхитительно жить на свете,
Когда по глазам полыхает любовь.

И пока, стрекоча сверчками, галоши
В водянке снегов разбухали след —
Улялаев, подплясывая и волнуя лошадь,
Умильно глядел ей вслед.

Он ей завидовал, что она — Тата,
Что она всегда с собой неразлучна.
Но звал его освищенный знаменем театр,
Сквозняком простуженный и хрипами измученный.

И слегка шевельнулись отёкшие ковбахи,
Закованные в боевицы из колец и перстней;
Опять цветные ленты рассыпались по шерсти
С погонами, вплетенными в гриву карабаха.

И снова зарипела в стременах стрекотуха,
Морщины решёткой построились во лбу:
Сегодня заседание — приехал инструктор
Южной федерации анархистов — „Бунт“.

Улялаев. Мамашев. Дылда. Маруся.
И покуда Свобода входил в азарт,
Дылда надувался — вот-вот засмеюся,
Маруся боялась поднять глаза.

Анархист Свобода, бунтарь-вдохновенник,
Старый каторжанин в голубых кудрях,
Сокрушённо укорял: „Да не надо ж вам денег
Путаники эдакие — зря.

Деньги — ведь это орудие рабства,
На них-то и возник буржуазный режим.
А вы? Не калёча старых пружин,
Вы только создадите новое барство.

Второе: не должно быть места разговорам
О тюрьмах, о казни, о спуске в ров,
Потому что нельзя же бороться с вором
Ворующим в обществе воров.

Поэтому, как только вы захватите пункт,
Сейчас же выпускать уголовщиков. Просто?“
Маруся: „А как же, ежели бунт?“
— „Какой такой бунт, не понимаю вопроса“.

Улялаев: „Та годи; слухай там баб,
Бреши соби дале“. Маруська: „Почему же?
Я могу пояснить. Предположим пальба,
Режут обывателя. Защитник-то ведь нужен?“

Дылда: „Дык што, жа? Чегось кажись лучше —
Стряхай пулемету — и жарь понамарь“.
— „Что вы. Ни-ни. Ни в коем случае.
Только убежденьем, только логикой ума.

Ведь если бы мир был построен на аде,
Был миром волка или совы,
Но ведь в том-то и дело, что наш массовик
От природы вовсе не кровожаден.

Ведь ясно доказали юристы и врачи.
Всю нелепость „типа убийцы“ (Ломброзо),
Поэтому в первую очередь лозунг:
„Преступление — нарыв социальных причин“.

Значит, нужно бороться не с самим злодеем,
А с причинами, стрáвившими его на злость“.
Мамашев: „Яхши. Эту самую идею
Говорат большевики“. Улялаев: „О—сь...“

— „Ну, так что же. И все-таки: остро́ги
и тю́рьмы,
Они — диктату́рщики. Им нужен переход.
А мы — непреклонны. В грóхоте бурь мы
Прыгнем в анархизм всенародной рекой.

И тогда будет жизнь, как дно в лагуне,
А личность — не рахитичный шарж,
Но для этого выдем под медный марш
— „К свободе через свободу!“ (Бакунин).

По улице кричали пулеметные тачанки,
Наскакивая колесом на стёнки, в стекло,
Улялаевцы пьяные валялись из чайной,
Кому-то в морду, из кого-то текло.

Прянишная тройка, измазанная в охре,
Айда по тротуару в бубенцах цепей.
На парнях галлифэ из портьер кинематографа,
На ямщике горжетка — голубой песок.

Вырывая с корнем пейсы из жидюшка,
Лапали гражданок втроем за углом,
И по всем известкам жирным углем
Написано „хрен“ и намалёвана пушка.

(Черная, в звезде электрических струй,
Гоняя в каналы ядовитые воды,
Дрожала держава ночного завода
В гробзах машин и митинге труб.)

А Тата шла, задушевно смеясь
На самой вкусной струне из голоса,
И платье, радужное как змея,
Отливало, шипело, прыгало и ползало.

Тату гнала́ какая-то власть,
Тата, разбры́згивая пе́жины снега,
Так что колёнки были мокры — с негой
Оглохшее эхо звала́.

Ее налива́ло томление взбу́хнуть,
Вскорми́ть яйцо́, как янтарь на вымет,
И Тате казалось, что в лифчике вымя
И сладко бесстыдное слово — „брюхо“.

И вот пришла на пустынный берег,
Здесь, может быть, ящерицы и фаланги,
Но только здесь на лебяжьих перьях
Явится ей осиянный ангел.

Пусть ниспа́рит, вождедея к Тате,
И, содрога́я крылами тени,
Ей как любовник вдунет зачатъе,
Чтобы, как в мифе, родился гений.

Закат сатанел. Облака тонули
В сусальном золоте ла́данным туманом
И перека́ти поле и новолунье
Места незнакомые да и сама она...

И вот с востока и юга навыхрест
Облепи́л, обтяну́л ее шелковой бронзой —
И она отдава́лась морскому вихрю,
И па́чкали платью его капли солнца.

Мускулистый ветер, задыхаясь от счастья,
Вспыхнул об волосы и рассыпал в искры,
И она улыбалась, щекой к нему ластясь,
И тихий свет ее глаз был искрен.

Из рта сделав „о“, его голос ловила,
Его свежим звоном полоскала зúбы...
Этот скользкий торс из медузы вылит
И как статуя льда — голубый.

Домой возвращалась по затянутым лúжам,
Утоленная, звóнкая, занюханная вéтром,
И думала: „А что у нас сегодня úжин —
Должно быть, котлеты в 1½ метра.

Но что бы там ни было — вилкой отклевав,
Накапав на стул у постели свéчку,
Она непременно за сегодняшней вечер
Окончит Гамсуна и примется за Льва.

Но навстрéчу швыряя колокола́ штанов,
Дуя вонь из газетной цыгарки,
С золотыми якоря́ми через ленту „Новь“
Шата́лся матрося́га и хáркал.

Его зноби́ло и он иска́л погреться.
И вдруг лафа́. Какая-то бабе́нка.
Ишь-ты. Кусаться? Втягивать губенки?..
Это от кого же? От черного гвардейца?

Но Тата вёрвaлась, и он похабно зыря
Сдунул харк, обкурeнный и горький,
И слизь, ляпнув, поползла пузырясь
Зеленым ядом по шее за норку.

И стало ясно: от жизни устала.
Ничего не нужно. Мёртвая скука.
И кто-то в висок настойчиво стукал,
Что ангелы — глупость. Что их не осталось.

Керенские прапоры все видели у столика.
Черное пиво сопело ноздрями,
Но никто из них не тронулся, и только
Ломали пальцы — и всем было странно.

Но матрос ворочался. Присел на бруствер.
Треснул спичкой — и рыжий ужал
Лизнул сафьян „Истории Искусства“,
Трезубой короной яростно жужжа.

Керенские прапоры страдали от сплина.
Что это все. Грабёж или ересь?
Липовые командиры рыскали карьеры-с,
Но какая тут карьера, если нет дисциплины?

С печальными глазами, не в силах отстраниться,
Но по-демагожьки растягиваясь ртом,
Смотрели, как в пламени, роскошный том
Пеплился, от боли листая страницы.

Ганзейская шхуна. Вот кошка и пинчер.
Вот натюрморт и Бордо.
И листнулись вдруг глаза Леонардо-да-Винчи
Над струистой золотистой бородой.

Один из них не вынес. Шарапнулся руками,
Но рыжий язык стёр.
Дергая ртом, он булыжный камень
С яростью брызнул в костёр.

Прапоры захлопали: брависсимо, Краузе!
Но вдруг из гурта, где отдувался зубр,
Кто-то, облапив музыкальный маузер,
Вдарил огнём в зубы.

Поручик Краузе. Рванулся пробор.
Устоял на ногах. — „Господа офицеры!..“
Поручик Краузе. Руку в борт,
Левой как на дуэли цёля.

Бац. Офицеры заняли кафе
И под прикрытием мрамора и стульев
Уже — (бац - бац) — своротили лафет
И пустили стакан в нарезное дуло.

Но тут — матросà. Но тут — мужики
Под мат и галдеж в киргизские орды,
Дззз... заскулил орудийный шкиф,
И в панике шпанà удирала из города.

Заунывно отвыв, разорвался выстрел.
Загremела шрапнѣль, ковыряя тумбы.
И, оторопѣв, отрезвѣвшая лумпырь
Принимала на штык остервенелых гимназистов.

И сразу каждый так или иначе
Понял, что это не спросту бой —
„Да здравствует Леонардо - да - Винчи,
Интелигузию бей!..“

Анархистский штаб прискакал на площадь,
Свобода сунулся в рѹхлядь баррикад,
Но вмиг обломилась миротворная рука,
Маруська разрешила это проще:

Каждый атаман отзывает своих —
Мамашев киргизов, а Дылда русских —
И когда в полчаса отгremели бой
К прапорам подъехала Маруська.

Серая лошадка, нахально подцѣкивая
Серебристым дробиком умеренно крупным,
Прошлась бочком, им в лицо кивая,
По-проститутски играя коупом.

Купринский штабс - капитан захихикал:
„Да она ей богу аппетитней хозяйки“.
— „А рысца ничего, как ты думаешь, Мика?“
— „Ерунда. Я даю ей фору до Яика“.

— „Не много ль?“ — „А что?“ — „Да твой Одно-
глазый
Грузноват пожалуй, хоть ноги и длинней“.
— „Пари“.— „На что?“ — „Раз по морде“.
— „Согласен“.
— „Ну, что же, господа — стрелять или нет?“

Благородный клуб немного опёшил:
Как никак — женщина, пусть даже брак.
Но купринский штабс, багровея плешью,
Заорал: „Полковых Мессалин убрать!“

Пуля заёрзала по землё вбрód.
Лошáдка обíженно вздёрнула гóлову,
И в рóпоте опóра попыхивало óлово
До самых театральных ворот.

Тогда на баррикаду молодого оборóнца
Из ворот театра — еще за верстú
Гремя колоколами железных струн —
Помчалась конная бронза.

Ряженный жеребёц былинных держав
Скакал и медью звонило брíoхо
И латы его мышцú отливали глúхо,
Где зеленела от óкиси ржа.

На нем неподвижно, пódъяв подбородок,
Сплúщенный свíстами вешней пурхи,

Мчал в величественных дорогах
Самодержавнейший анархищ.

Дл'анью забрав храп жеребца
И широко растопы́рив копы́та,
Памятник вры́лся, и воздух разбитый
От боли бубенца́ми забряца́л.

Т. к. пра́порщики — дети буржуа и кустаре́й,
То по традиции дворянской чести
Они тут же покля́лись меж собой на винчестере
(Меч давно устарел).

Атаман не лю́бит со смертью хитри́ть.
Он где-нибудь здесь, в ответственном месте,
И Краузе в сладострастии мести
Ду́лом искал вождя из витри́н.

Всадник черне́л на бугре́. Плеть.
Чугунный кабан кривоногий от мяса,
И сам монарх, о бедро́ обопр'яся,
Тяжело нагруженный массивами плеч.

Краузе вздрогнул. Где я видал,
Где я видал этот груз, эту позу?
В кнехтских музеях? Или в Италии?
Нет, кондотьеры изящней; на озере?

Ба! Петербург! Эта, как се, площадь —
Медь императору Александру-Три.

И Краузе в восторге фла́гом полощет,
А винчестер сполз, отцарапав штрих.

Ночью по городу шёл патруль,
Проверяя у прохожих про́пуск;
Ночью Маруська загну́ла трюк
Касательно введенья Агитпро́па.

По типу „красных“—при каждой части
Должен быть — свой Политотдел.
А инструктор врет:—никогда и нигде
Нельзя обойт́ись без власти.

Свобода вскочил. Но нелепы усилия.
С ним не считались (Трепло! Орган!)
Агитпроп утверди́ли. Тогда Серга
Запроси́л, каковы у них силы.

По сумме подсчётов каждого начальника
Около трети их по́лчищ
Рассыпано по степи. Это печально.
Серга,—так тот даже щёлкнул от жёлчи.

Но батька серча́л: беглецо́в перекуро́ют,
Допыта́ют про банду — сколько да ка́к.
А после как двинут тоби́ каюка́,
Аж тылько обмоеся кровью.

Надо подкинуть на завод письмо,
Чтобы те со страху тама запёрлися.

И Серга, проведя жидковатый смотр,
Писарскими п^альцами накат^ал б^исер:

— „Дорогие сволоча коммунысты!
Отдаю до вас приказ разверстку сократыть,
Каковую аж сам осподын прыстав
Драли послабже в четыре краты.

Сие сообщается отнюдь не для облаю:
Ну как у банде больше нема вже местоу —
Каждый д^ен мужиков сто
Оста^юсь народный Улялаев“.

Кашин Х
Астрахань XI 1924 г.

ГЛАВА 7.

„Июнь 20-е. На станции „Верблюжья“
Убили коммуниста и взорвали полотно“.

„Июнь 21-е. Приезжал Блатной.
Спрашивал, может быть он тут нужен.

Отшли. Своих небось некуда деть.
Уехал. Говорил, что налетчики Одессы
Сенька-Сахалинчик и с ним человек десять
Просятся к нам — они там не у дел.

„Июнь 25-е. Остановили поезд.
Публика — мешочники. Один — кооператор.
Молодой, такой шустрый. Кричал „пираты“.
А денег всего 100 миллиардов с собой.

Думали больше. Пустили на „пйку“.
А деньги — Дылде (он крепко скандалил),
В тюремной теплушке нашелся кандалный
Какой-то офицерик. Возьмем за него выкуп.

„Июнь 30-е. Сегодня Серга
Шлялся пьяный и зарубил прохожих.
Трое за́мертво, но четвертый ожил.
Июль 2-е. Пронёсся ураган.

„Июль 10-е. Были в кино,
Смотрели „фальшивый купон“ Толстого.
Мозжухин дуся. Лакали вино.
Дылда наскандалил и-немного арестован.

Июль 20-е. Взорвали „Вороное“, –
А локомотив пустили под откос.
Ушибла палец, но нару́жной стороно́ю,
И теперь растёт какая-то кость.

Краузе тоже болен. Хоро́шенький мальчик.
Читает Полежаева, становится в эффект.
Вот бы хорошо бы с ним скопить капиталчик
И где-нибудь открыть ночное кафе:

Лампочки бы красные, портьеры на бло́ке,
Сто́лики в стекле́, а под стекло́м стихи,
Какого-нибудь мо́дного, например, Блока.

Ох, как я устала от стихий“.

Маруська дописала. Подсушила над свечей.
Краузе... С ним она не ссорилась бы веки.
Э, да что мечтать. Тряхну́ла плечо́м,
Вздохну́ла и подняла веки.

Женская тень раздевалась на стене
Держа в зубах зазубренную шпильку.
— „Ты умеешь гадать по рисунку теней“.
Пауза.— „А что Серга, небось, пылкий“.

Гостиница, где жили Маруська и Тата,
Хорошенький карточный домик,
Рассыпалась об уличку, да и та-то
Заикаясь валилась под номер.

А в этом номере было темно:
Военный спец в соломенном кресле,
Упирая венгерки шнурованных ног,
Качался и думал песни.

Роста небольшого, в щеках слегка обрюзг,
Орлиные очи, брюшко, но плотность —
Хоть он приближался уже к сентябрю,
Но им не маслили батальные полотна.

А он их искал. С кадетской скамьи,
С юнкерских пьянок, с гусарских дуэлей,
Мучился мыслью, что неужели
Жизнь пройдет как миг.

Люди обычно дней не замечают —
Живут как живется, только бы как все;

Лишь иногда за трубкой или чаем,
А чаще в вагоне, плывущем в овсе,

Когда опустеет усталый чердак
От папок, телефона, заседаний и пульки,
Бывает, газетных будней черта
Распускается в тухлой мечтулке.

Но Зверж не мечтал. Даже весной.
Философия его выражалась мыслицей:
„Я не знаю, зачем я родился, но —
Раз я рожден — я должен вцепиться“.

Он был умеренный штирнерианец
Под соусом ионийской школы,
Но звон шпор и погонный глянecь,
Но даже его гусарский окблыш —

Всё, в чем армейская чвань плыла,
Для Звержа — пузырь. И гроша бы не дал —
У него на года прищуренный план:
„Лучше пере-, чем недо-“.

И с юности в зубрежке, муштрé и дудье
По хронометру процеживалась каждая минута;
Он стал учитывать каждый день,
Записывая: научился тому-то.

Стратег-теоретик, четкий как кодак,
Лет за 12, наконец, накатал

Плотный томик — технический кодекс
Рейдов, позиций, разведок, атак.

Но издавать он не думал. О, нет.
Карьера военного писателя и лектора
Самая тусклая в поле того спектра,
Который расцветает перед мбзгом на коне.

О, нет, он выжидал. А пока
Оловянные солдатики расставляя в панике,
Вел хитроумнейшие кампании
Combinaison'ом из „m“ по „k“.

Основная военная мысль Звержа:
Солдат — это нуль. Командир — это все.
Но дело не в том, чтоб держаться тверже
И авторитет чтобы был высок.

История учит — татарская „ла́ва“
Сильнейший метод, где требуется зверь.
Но разве (по Мольтке) конторский ландвер
Чопорной шагистикой их не заплавит?

Боевой о́пыт ему показáл:
Сражение не битва, а бегство и погоня,
И в ней животная психика ко́ней
Столько же ве́сит, сколько сам казак.

А так называемой „дух“ — ерунда.
Храбрости нет — есть сты́чка количеств

И их впечатленье от прущих наличий
— Солдат.

Поэтому цель командира — добиться
Сведения к нулю одушевленности масс,
Так, чтобы выделить из нервов и мяс
Механику жестов рубийцы.

Иначе говоря надо сделать так,
Чтоб в шансы не шла истерия части,
И какую бы линию ни приняло несчастье —
Найти для нее командный контакт.

Отсюда новая система боя:
Положим паника, буквально рябит вас.
Как общее правило, паника — проигрыш
И ею кончается битва.

Но пятки перепуганных Жиздр и Коломн
Отмерь на план — и хаос построен:
Где распыленность — рассыпанным строем,
Где толпота — подобьем колонн.

И вот тут-то запасный командный состав,
Свой влёт из резерва, вытрубив резко,
Рёжет глаза своим кивером (сталь),
Управляя по плану случайным отрезком.

И так проскакать впереди, как в парад,
Чтобы дать осознать солдатне организацию,

Вдруг на дыбу повернувшись к братцам,
Грянуть — „Бригада, урал“.

Но для этого структуру гарнизонного болотца
Нужно подставить под свежую струю:
Строить солдат в шеренговом строю
Не по росту, а каждый раз — как придется.

Таким образом, взвод, отделение, звено
Никогда не будут знать заранее, кто в него
заедут.

И конник, не привязанный к своему соседу,
Паники от строя не отличит под войной.

Отсюда ясно: паники нет,
Это тип измененного строя — и точка.
Пока боец еще на коне,
Сражение не кончено.

Эту теорию всей своей жизни
Пробовал пальцем на острие
Отбывая в Коломне, Голте и Жиздре,
Наступая на Сан и Острог.

И теперь не вмурованный больше в казармы
С их казенной муштрой полинялых слав —
Он искал своих собственных армий
И в них королевский лавр.

И в самом деле: Россия глуха,
А чего-чего нет...— Пшеница и вóрвань,
В поле лисица, в лесу глуха́рь,
А коммуна нелéпа, а ца́рь надóрван.

И Запад придет разбазáрить на колонии,
Кроя́ ее карту шпо́рной звездой,
Но армия Звержа конною колонной
В какой-нибудь Кахетии обру́бится в гнездо́.

И те, оборвавшись на этих хижинах,
Оставят их в прокое, даже станут покровитель-
ствовать,

И будет королем у них наемный хищник,
Чужой по религии и по кро́ви.

Итак, он сидел, качаясь в темноте,
Вздремнув под шушуканье болтовни́ сорочьей,
Пока на стене раздевалась тень
И тело чернело в дыму сорóчки.

И вдруг в простéнок тревожное: тук-тук.
— „Да-да?“— „Послушайте, вы ничего не слы-
шали?“

— „Нет, а что?“— „Такой во́ющий звук,
Длинный такой, пролетел над крышей“.

Дыханье снаряда, взорвавшись в дым,
Отдало грохот об гости́ничьи ре́бра.

— „Голубчик, золотко, будьте же добреньки —
Что ж это, боже мой... Воды...“

Свечной язык зарывался копотью,
Стакан подзванивал, расплескивая воду;
Женская тень в ставенном хлопаньи
Спешно одевалась и прыгала в воздух.

Второй задув, осыпая окна,
Дрыгнув цокнул осколок о лад
Медно-зеленых шеломов, и дрогнул
Колокол около колокола.

Зверж прошел в соседнюю дверь,
И Тата в ужасе кинулась на плечи.
— „Ничего, успокойтесь: Карл Зверж.
Имею честь. Вы можете облечься“.

Но Тата ничего не понимала. Дрожа
В чулках и панталосках, она жалась к офицеру.
Контуженная улица, освященная церковь,
Скокот подков, гудеж горожан.

Пузатый окуляр морского бинокля
Стянул вокзал, шатавшийся от боя;
Там хищно, притушив свои стекла,
По рельсам гильзой скользил бронепоезд.

Облитые сталью башни под роспись
Лениво курились дырами жёрл,

И по улице прыгала железная оспа,
Нáспех ры́ща жертв.

Под самым окном, поперхнувшись пулей,
Развалился прохожий, и смок рукав.
Тата вскрикнула и в жмури уткнулась—
И вдруг на талии заныла рука.

Тата подумала: он маленького роста,
Поэтому его ладонь пришлась на бедро.
Отчего же он вздрогнул? И в челюстях дробь.
— „Разве вы боитесь?“ спросила просто.

Поту́пился. Налившись, передвинулись уши.
И вдруг она почувствовала, что совсем раздета.
Вырвалась за ширмы. „Там на столике груши,
А я, я сейчас... Только гетры мои где-то?..“

Третий расколо́лся в губернаторском дворце,
Прорыв туннель в катаклизме судорог.
Но Тата не заметила, занятая пудрой,
В своем, теперь единственном, золотом жерсе.

Встретились в зеркале. Экая красавица.
Его все улыбалось, но сүпясь через силу,
Оттого что и она краснела и косила,
Понял, что и он ей нравится.

И она. Она тоже. Поняла. Это самое.
То, о чем поется в романсе „De morte“

И еще в народных песнях, напр. „Ты коса ль моя“
И ударил, лопнув, четвертый.

Четвертый? Неужели? А Морозов, а Гай?
Да и Улялаев. Так она проститутка?
И что-то подтрунивало — то ли еще, ну-тко!
Боже мой, что ж это? — Так-так. Ага.

Гай вбежал, широко дыша,
С энергичной пастью, от бега запарясь.
Из техноложьей куртки волохатая душа
Распирала верблюжку, как парус.

— „Тата. Ффу-ты. Ох. Ну вот.
Они еще думают, что я их псалник.
Накинь манто, бежим на завод.
Там переждем отступлень“.

Но ведь голос у Гая был суховат,
Не такой как у Звержа — в прокатистых дрожьях.
Но ведь волосы тоже степная трава,
Не так, как у Звержа — ёжик.

И когда в автомобиле Улялаев и Зверж
Ее укутывали от ресниц до пяток,
Над самым базаром выстриуивая взверть,
Павлиний хвост расфуфырил пятый.

г. Бежецк.
X 1924.

ГЛАВА 8.

Несмотря на эпидемию и пестроту наций,
Юго-восточная группа
В составе 1-й, 6-й и 13-той.
С успехом гремела Тулой и Круппом,

Пока, наконец, в ночь на август
В 20-м часу под „ура“
Пал прокопчѣнный в газах Буранск,
Открывая ворота на Ханскую Ставку.

Теперь положение было уже следующим:
Тринадцатая армия занимала берег,
Шестая линию Дюдюнька-Регельсберг
До левого берега озера Ледыщи;

Первая конная помещена в резерве
В районе станции Рва,
Где, вешая попутно мародеров на дереве,
Заканчивала формирование.

Группировке же главных сил неприятеля
Можно было дивиться:

В лоб 13-той гвардейские рати,
Стрелковый корпус и Дикая Дивизия,

Против 6-той — конница фон-Бервица,
Офицерский Легион и Крымская Армия,
И, наконец, против Конной Первой
Вся улялаевская ярмарка.

И вдруг бряцнул струнами прокат:
Телеграфная скоропись
В точках и тирэ отдала́ приказ
Из Конной выделить корпус.

Означенный корпус именовать ЧОН
Присвоением прав армии.
Все вагоны — цветные, товарные
Груженные тарой также кирпичом

Освободить под ответ продчека
Представить фамилии 2-х кандидатов
Посты командарм комиссар тчк
Командующий Ю-В Группы (дата).

Но, покуда седлали гнедых зверей,
Слух поспел об улялайской черни:
Открыли фронт и заехали в рейд
На территорию советских губерний.

Через 2 часа Конармия в бой
Захватить еще незаживший плацдарм,
А корпус в тыл по дорогам старым,
Закрепив штаб за первой избой.

В этой избе командарм Лошадиных,
Грѣя над свечой бутылку — „Боржом“,
Гладил на лавке исподние штаны
И что-то щёлкал столовым ножом.

Комиссар армии товарищ Гай,
Который брился у иконы в черноту лица,
Подошёл, намывивая на щеку снега,
С подтяжками, из-под рубахи пляшущими лихо.

„Что ты тут строгаешь?“ Командарм не отвечал.
(Шутка ль дослужиться до таких вершин.)
Гай склонился да так, что свеча
Трѣснула о волосы, и увидел: вши.

— „Ну тебя к дьяволу — зачем же ножом?“
— „А чем же, хреном?“ — „Брось притворяться.
Совсем обнаглел, хам“. — „А ты — жо.
Жонтик, то-ись. Одним словом ца-ца.

И как таковое заткни свой нюх,
Потому безо всякой точки живет“.

И тень командарма во весь живот
Сытым торжеством напоминала свинью.

А утром, когда барабан пропел
И голос пробил: „Командовать рысь“,
Лошадиных нагайку, и тень в репей
Прянула точно рысь.

В широких русских ноздрях азарт.
Да! Несомненно — он вбин, он призван.
Рыщут злорадные в стрелках глаза
О враге в природе тончайший признак.

Если днем поднимаются болотные птицы
И нервно кружатся в одиночку и парами —
Значит проложен шаг армий,
Рышущих напиться.

И болотца в пушице, чмокая лопь,
Слепки с копыт присасывали в память:
Сперва подковы ложились в нашлёп
Всея дугой и двумя шипами.

Но вот поднялись на когти и в отрепь
Запятыми цапали киргизские ковры.
Ясно: армия шла в рысь
Линией колонн по-три.

Если вода остается в колодцах,
(А численность взвода человек тридцать),
Значит — армия торопится колоться
Кавалерийской рысицей.

Таяла луна, дырявая как сыр,
Над степью выливалось ядрёное ведро,
Банда все нагоняла рысь
Линией колонн по-три.

Если в кострах красная кровь
Из тонких веток хлещется в небо,
Если пометом опахивает ров —
Значит час, да и этого не было.

И вот от костров по колёсам тачанок
Ободами выбитым на тугом грунте,
Конным карьером в погоне отчаянной
Будет ухлопан унтер.

„Аллюр!“ И прижато лунное стремя,
Игрой на гребёнке натёшится вихрь,
И голов под галоп боевой строевик
На тени не различит в стреми.

Лошадиных был — топ-топ — командарм,
При нем — топо-топ — комиссаром Гай.
Армия ЧОН'а мчала недаром,
Свежей и свежей говорили луга.

Вот они! на горизонте! линией рябою...
Пала градом тревожная дробь:
— „Эска-дрон. Шашки к бою —
Пики на бедро!“

Но с утра и весь день через степь маяча,
Сохраняя дистанцию в 10 верст,
Укарабкивались бандитские клячи
Под разбойничий свист, улюлю и порск.

Пока на глаза мохнатой папахой
Вхлобучится дикая ночь,
И кони, отдувая глазничьи пахи,
Повалятся с перепухших ног.

А утром опять через степь маяча,
Сохраняя дистанцию в 10 верст,
Укарабкивались бандитские клячи
Под разбойничий свист, улюлю и порск.

Пока на глаза мохнатой папахой
Вхлобучится дикая ночь,
И кони, отдувая глазничьи пахи,
Повалятся с перепухших ног.

„А утром опять, через степь маяча“...

(и т. д. до бесконечности)

Одначе будя! Кажись, пошутіли.
Всего-то и виду, что конские лядви,
План изменить: армию на две —
Первой — Гай, второй — Лошадиных.

Теперь уже лошадь пошла в оборот:
Лошадиных гонит, а Гай в конюшни —
Своих оставляет, крестьянских берет,
И конь посвежел — не канючит.

Уж банде нету ни в чох зарыться,
Ни в балки обритого поля.
И скачут тачанки и кавалеристы,
Гоняя без корма и поила.

Конскую хватку корчит азарт
Короче, короче, короче.
Над ними кричал вороний базар
Кальгами черных урочищ.

Это было славное время для волчих,
Когда везде ночевала падаль,
И они уже не шли на берег Алчи,
Где их стерегла — опасность.

Семьдесят верст отскакали ночью
И вот уже ясно виден задний,
И видно — к тылу подъехал всадник
И жеребец хохочет.

Банда стала. В мокрых от рос
Полях седых и бурых,
Пар как войско толпился и рос
Орлиной горбью плащей и бурок.

Банда стояла. Впереди хутор
С высоким загоном для бычьих боен.
Таяла луна. Кукаречье утро.
Здесь будет бой.

Тихие ямы, полные неба,
Изредка вздрагивающие рябью,
Синели в лысынах русого хлеба,
Где срывисто перепархивал рябчик.

И, черкнув горизонтом таинственный град
Из красного солнца и сизого дыма,
Земля опускала восточный край
Торжественно-неудержимо.

И вот на виду, от пыли опухши,
Дали поворот пулемётные тачанки,
Потом синеватое рыло пушки
Вставало с бугра меж кустарников чахлых.

Одинокий хлопец отчаянной жизни
Помчал-было на чоновцев конские зубы.
Но снова все тихо. И зрели арбузы,
Хоть им не пойти уж товаром на Нижний.

И вдруг сбоку вспыхнул букет
Голубовато-лиловых туманов
И, плотным бу! отрывисто грянув,
Седыми ноздрями повис на суке.

И махом орла в какую-то дыру
Потянуло струной течение вприсоннице
Секунда. Другая. Третья — и вдруг:
Кррах — дзий! Извержение солнца.

Яма взлетела в огне буре
Валялась чья-то бородатая маска.
И черепа дующая кровью гримаса
Цинично осклабилась к небу.

А в небе висился сизый чертог,
Зловеще пропитываемый алым;
По телу солнца черной чертой
Величественно земля оседала.

И снова сбоку вспыхнул фонарь
Голубовато-лилового дыма,
Оплыл и подул бороною мимо,
Линяя желтый и серый тона.

И снова и снова вспыхнул ожог
Один у мара, другой за мар уж.
Зеркало свистнуло из ножен —
„В атакуу... Марш-марш“...

Но тут в самое мясо, в центр,
С обоих флангов врагов
Под смачный чавк пулеметной ленты
— огонь...

Да еще в дымовых разворотах
Дунул шрапнельный загвóздень
И, выбив, как зубы, конские роты,
Осыпал сукóнные звёзды.

Но уж первый эскадрон
Проскочил за треугольник —
Хряск рúbки, тóпота дробь,
Замáха тугóе раздолье.

Под-ноги рвану́лся налива́ясь колеса́ блеск.
Гай привскочил — рраз — прыжóк.
Встала голова — и наган прожéг,
Встала голова — ледянул саблей.

Эта голова все одна и та ж —
Сейчас покрупнѐй, а другой раз поплóше,
Иногда она поднимáлась на эта́ж
И тогда под ней была́ лошадь.

Зерни́стыми икринками на очках кровь,
Но каждый раз голова вставала,
И снова и снова срубы ова́ла,
Так что вто казалось игро́й.

И вдруг из хутора в пороховóй туче
Под лупь барабанов и пой литáвр
Выезжали банды и бухóт летучий
Качал и свистел стебелька́ми атав.

И страшен был затонувший склон,
Серые пёрья праха топыря:
Ибо дли́на по́днятой пыли
Равна́ глубине́ коло́нн.

Тогда началось отступление,
Бешеная шпорь.
Банда, известно, не берёт пленных,
Срубает отселя да по этих пор.

А ежели берет — вырезает серпы
Из спи́н да грудей — имеется опыт.
И от ужаса смóкла на теле сарпíнь,
А сзади громоздко бубу́хал то́пот.

Гай отставал. Он кобылу измучил
И, оглянувши с предсмертной тоской,
Видит в трепле нелепых чучел —
Мирно скачет рогатый скот.

А на горизонте бандитские о́рды
Мчались удирая подобрав пузо́н.
Что это значит? Так это фо́ртель.
Тактика Звержа... Позо́р!.. Позор!

Русский солдат зубоскал и гаёр —
Беда перед ним оказаться балдо́й.
И чоновцы, прядая, под сде́ржанный галдёж
Исподлобья понуро следили за Гаем.

А Гай оседал, сутулый и грозный.
(Из ума не выходил этот проклятый нѣмчик.)
И вдруг смех, как ядрѣнный жѣмчуг,
Прыгнул в зѹбы и в нѹздри.

Нет, погоди́, погоди — напрячься,
Разик один — хо-хо — вздохну́л бы,
Но пузыри́, да бу́льбы
В нѣбо, глаза́ и у́ши.

Ско́лько есть ра́зных слов на свѣте.
Вот, например, „капу́ста“.
Нет, не годи́тся — надо о гру́стном,
Только скорѣ́й бы — никто не заметил.

Могут (хи-хи) пробра́ться в по́греб
Завтра — ха! — чумны́е крысы.
Я буду тоже, ой, лысы́м...
Некогда сги́бли обры¹⁾...

В какой-то кни́жке бедный фла́гман,
И вдруг опять „капфу́ста“!
Чѹртовщина, как это вкусно
Так грохотать диафра́гмой.

Вот барабанщик тоже прыснул,
Вот еще фы́ркнул где-то кто-то,

¹⁾ Обры — народ, о котором известно только то, что он погиб.

И вдруг — га-га!.. — орудийный хохот
Тысячей свежих жизней.

— „Смирно. Ффу. Попов, барабан дай,
Если смех — значит дух неплохой“.
И полным карьером гончий поход
Пошел за дымившейся бандой.

А банда, прыгая по столбовой, ровной,
Махнула в деревню теряя палых.
Чон прискакал — а уж их и следов нет.
Банда словно пропала.

Гай с вкадромом въехал рысцой.
— „Эй, бабуся — не видала конных“.
Баба, у кадки стирая лицо,
Корявым пальцем тыкнула: „Вон их“.

Кавалерия направила к серевшим ометам,
Распугивая по дороге кур и свиней.
И вдруг в тыл закипел свинец
Под поддакиванье пулеметов.

И вдруг вопль и копытный ступ
И вбок из околицы за межевой рубец
Женское тело завалендал жеребец
С волосами, подвязанными к хвосту.

А на седле закопченный, рябый,
С подпаленными точно гусь усами,

Прыгал бандит, наряженный бабой.
Ба. Да это батько. Он самый.

Вертяся „Вороном“ на одной точке,
Разжужживая тело на сальной косице¹⁾,
Сивый чертяга глазом отточенным
Под вывороченным веком косится.

Шабаш. Владейтэ! И конь кружился.
Казалось, что три, что четыре тела.
И Чон оробел и смотрел на жилы¹⁾,
Где слиток плыл золотой, как лето.

Но тут подоспел Лошадиных.
Серга обрубил хвост и в галоп.
Дали погоню, и полк лошадиный
Рябыми ногами по телу колол.

А за ним прошла полевая артиллерия.
Издыхший кот, костяком загремев,
Прилип к винту и кружился ощерясь,
Раскатанный колёсами в ремён.

И Тата лежала пастилой кожи;
Войлочная степь ее лужицу вопьёт.
Гай подъехал и весь перекошенный
Откатил голову и вздел на копье.

¹⁾ Косица — конский хвост целком; жилка, жила — наиболее длинный волос хвоста.

Из высокой ли романтики французских
революций

Или для того, чтобы любовницы облик,
Цокая кровью в мертвом салюте,
Обрёк солдат на месть и на доблесть...

Атаман, водопада хвостом по ветру,
С тремя офицерами плыл в лазурь,
Но за ним, нагайкой наструпывая зуд,
Гудел его клятый недруг.

Ехали сектором трех дорог,
Ехали кухни, больницы, казармы.
Два часа огромная армия
Струнила четырех ¹⁾).

Но Мамашев был дремучий кочевник,
Он угадывал приметы, где не видно ни зги им.
И штаб, домахнув до неожиданной деревни,
Сгинул.

Оцепили. Въехали. С лукавеньким рыльцем
Мальчишки играли бабками в цель.
Они говорили меж собой на „нце“:
„Никтонце ничевонце не говоринце“.

— „Ну-ка, парень. Ты-ты. Не артачься.
Сказывай, где Улялаев“.— „Чевонце?“

¹⁾ Струнить — (охотничье): загонять с обеих сторон.

Лошадиных рванулся — и черное солнце
Брызнуло изо рта.

Гай вздрогнул: „Ну, ты — брось“.
У нас с мужиками должна быть сплоченность.
И потом это ребенок“. Лошадиных поднял бровь.
— „Ты — ученый, а я — толченый“.

Во дворе у забора мокрая лошадь.
Сосала корыто, густо дыша.
Лошадиных шарить пульс по ушам,
Нюхать ладо́нь и гриву еро́шить.

— „Чей конек?“ Мальчишка молчал.
„Я обучу, брат, тебя разговору“.
Через лицо хлышь! — „Чья?“
„Наша“.— „А почему пот?“ — „Вона хвора́я“.

— „Врешь, подлю́га. Ведь эдакая сволочь“.
И зажужжал казацкий нагай.
— „Дяденька-нача́льник. Брось! Ай-ай!
Тама корчма́. Их попря́тал Фролыч“.

В корчме́, где пол был све́же окрашен,
Цара́пины шпор и военный каблук.
Подо́няли полови́к. Под ко́льцо́м — люк —
Краузе, Зверж и Мамашев.

Офицеры вышли и сдали оружие.
Но Зверж, щеголяя венге́рками ка́рими,

Четко сказал: „Я могу быть нужен
В качестве инструктора вашей армии“.

Гай усмехнулся: „Не нахожу слов“.
— „Напрасно. Я продаю вам шпагу.
Я — кондотьер, и свое ремесло
Могу предложить по контракту на год.“

Стало-быть нет? — „Обратитесь на биржу“.
Он вынул пилюлю, заклапанную в жезь,
Глотнул, подняв брови, и сделал жест:
„А славу по мне пусть лошади выржут“.

Лошадиных не верил: „Ну, что же — пора уже“.
— „Терпенье, мсти-сдарь — 15 минут“.
В этот момент пожелтевший Краузе
Подошел к столу и нервно мигнул.

Он стоял, петушистый мокрый цыплёнок,
Но бодрясь выстукивала правая нога:
— „Вашей смертью считаю себя оскорблённым“.
Вытянул пальцы — „дайте наган“.

Дали пустой. Приложил — отстранился.
— „Не могу“. А Звержа скрутили ужи.
— „Хоть это не поручик, а Аста Нильсен¹⁾“.
Но комисары, да здравствует жизнь“.

¹⁾ Аста Нильсен — кинематографическая актриса.

Его погребли в каком-то кургане
Быть может, над рёбрами монгольского вождя.
Говор барабана врага провожал
И солдаты степенно моргали.

Остальных подвели к обрыву реки.
Секунды на дулах каплями спели.
Хотел, было, оправить обшлаг у руки,
Но спохватился — нет, не успею.

Да нет! неужели так-таки умру?
У меня меж ноздрей раздвоенный хрящик.
Я дышу — вот видите? дышу. Грудь.
„Не рыдай мене, мати, во гробе зряща“.

Кажется надо уже падать. А Миша?
То-бишь, Мамашев. Он тоже со мной?
Что ж это, ни гула, ни боли не слышал,
Просто — стало темно.

Так ликвидирован их штабной кворум.
Однако Улялаева так и не нашли.
Хотя о забор отодрался башлык
И тут же в стойле ржал его „Ворон“.

Дня два караулили. Обшарили все.
У чоновцев был испытанный навык:
Люки, стрехи, перины, канавы,
Даже камнеломни, где лишь гнёзда сов.

И уже выступая и пыль закувыркав,
Вспомина́ли снова все амба́ры и коню́шни.
Но позабы́ли одно: нужни́к,
Где Улялаев сидел под ды́ркой.

Астрахань
17 — 21 — XII 1924

ГЛАВА 9.

Ленин диктовал машинистке: „Итак:
Резолюция IX съезда полагала,
Что путь пойдет по прямой, но — скалой,
А скала-то вышла витая.

Но мы не должны стараться что-либо замазать,
А должны признаться волей-неволей,
Что наша стомилльонная крестьянская масса
Установленной формой отношений недовольна.

Написали?“ Ильич шагал по ковру,
Стараясь ступать по линии клеток,
Засунув пальцы лапчатых рук
За подмышки губсоюзского жилета.

„Дальше. Политики, которые скользят,
Сводя свои приемы чуть ли не к обману,
К нашему пути никого не приманят —
Классов обмануть нельзя.

Вникая в этом, мы скажем себе: баста.—
Покуда пролетариат будет бороться,
Не выскочишь из местной свободы оборота,
А значит из потребности в товарной базе.

Этот оборот нужно вправить от ушиба,
Ибо революция — дело поколений.
В этом отношении было много ошибок
И не видеть их — преступление“.

Машинистка вмешáлась: „Примите благодушно
Конь о четырех, да и то спотыкается“.
Улыбнулся: „Гым-гым. Еще бы не кáяться,
Ежели споткнулась целая конюшня.

Но дальше. Компродский аппарат налёг
И заку́порил корни крестьянского роста.
Давайте ж разберемся: мы стоим у вопроса
Вместо развёрстки ввести налóg“.

Налог!! И заглох орудийный взвóй,
И побросáла армия деревни караулить,
Конница отплясывала ксилофонный звон,
Справа по-три на зубах улиц.

В стрелёцком шлеме, где в шйшечке кнес¹⁾,
Опрйчную свóлочью выкатив челюсть,

¹⁾ Кнес (слав.): князек, флюгер на тереме.

Сам командарм, деревянно подбоченясь,
Грозно гремел на карусельном коне.

Считая, что тон советской государственности
Это чекищина, приказ и наган,
Лошадиных старался, честно ударствуя,
Выкроить рожу — на страх врагам.

А Гай понуро качался на коне.
Уже велось „дело“ об убийстве Кулагина,
Да в серых думах болезненно вздрагивала
Мысль о той, о ней.

Облака Грозного над улялайской степью —
Хищное тьявканье, картавый курлык
На кургане бились мохнатые орлы,
Свища вихри, вздувая пепел.

Горбатые когти сочили выскребь,
Поросший ракушками клёв гремел,
Из мозолистых лап вылетал в искрах
В запахе пороха — кремьень.

И когда, в монархическом распахе,
Ерошась, остался самый великий —
Его наглые глаза осмотрели — на пике
Черная от мух голова пахла.

Ему стало дико и как-то не верилось,
Что он, он, — комнатный интеллигент,

Тот... Он писал метелицы писем:
„Милая мама. Я прошу об одном —
Стул мой в чулане — умоляю, займись им —
Пусть его покрасят и вправят дно“.

Вот и все. И ничего нового —
Никаких идей с красивой брехней.
Просто стул. Рядовой. Сосновый,
Который уверенно четырехног.

Кстати о стуле. Дом № 3,
Подъезд, где сыплется цементный гравий,
Звонок: „три раза и раз“ — и направо:
„Профессор Евгений Иванович Щедрин“.

Так вот у Евгивца¹⁾ — месяц пошел,
Как, что называется, не было „стула“.
И старый академик не без юмора думал
Об экономии топлива кишók.

Сумевший отличить Ratio от Logos,
Но не смогший отопить свои 70 аршин,
Втащил в кабинет собачью берлогу,
Где много соломы и псиной парши.

Тут и залег. Тут после лекций
Жáрил на кастóрке чемоданные ремни,

¹⁾ Евгивц — Евг(ений) Ив(аныч) Щ(едрин).

И то́пливом пыла́ли из бы́вше́й коллекци́и
Враждебные теченья, например, Парменид.

Вечером же в ва́ленках и золоти́х пенсне́
Шел по квартире проверять мышело́вки,
И если бы его спроси́ли — мяся бы неловко
О критике Штейнаха¹⁾ к будущей весне́.

А ночью опухшие суставы Эжени²⁾
Копали́сь среди му́сора в ви́гребном дне́,
Ибо смерть — выход в любом положеньи,
Но положенье, где выхода нет.

Но зима на исходе. Но солнце храбро
Кровавилось в бархате лы́сых гардин
И старушек по зале благодушно броди́л,
Мурлыча любимую абракадабру:

На́вуходоносор На́-
ву́ходоносор Наву́хо-
доносо́р Навуходо́но-
сор Наву́ходоносо́р.

Аккуратно ви́нул что-то вроде табакёрки
И, шаркая до бюста Октавия (станция),
Нюхал и думал: а) о букве „э́рике“,
б) О влиянии последней на „Стансы“.

1) Штэйнах — германский ученый, производящий опыты омоложения на крысах.

2) Эжён — французское „Евгений“.

К этому-то Щедрина позвонили. Резче.

— „Батюшки. Какими судь...“ „Ну-ну, ты. По-
тише-ка,
Я конспиративно“. — „А. Но где же твои вещи?“
„Вот—“. — „Что это?“ — „Да записная книжка“.

Суетливо выловил из жилета ящичек,
Ткнул в носдрю зеленоватого меха:
Аап? Псср! — „На здоровье“. — Ррящы!!
Ап! — „Ну?“ — А... — „Ну?“ — Нет... Проехало.

— „Фу!.. Ты все тот же. Бунтуешь?“ — „При-
вычка“.

— „Но скажи мне на милость: ну, что ты при-
внес им?“

— „Страх, — засмеялся сквозь зúбы носом: —
Страх террора... Ты это себе вычекань“.

„Ну, что у вас в Москве? Презираете Листа?
Втыкаете антенну в левитановский „Омут“,
А как самочувствие Белого Дома,
Этого правительства веселых журналистов?“

„Ну, что же — отвечай! Бывал Первопúток?
Что заговоры?“ — „Что ты. Теперь, уж, бойся
стен“.

— „Вот как? А кстати: я больше не Штейн.
Я Завадовский. Понимаешь? Не напутай.“

Ну, информируй дальше“. „Ах, боже, милый
Дима,
Ни с кем не вожусь, и вообще стал таять“.
— „Тогда вот что, дядя: я пойду пошатаясь.
Мне нужно принюхаться. Необходимо“.

Штейн достал гофрированную бороду,
Приладил к губе, отянул резинкой
И быстро пошел по мертвому городу...
Здесь „Мерилиз“, а тут был „Зингер“.

Он шел завоевателем, производя экзамен,
И слышал от злорадства перестук пульса:
Попугаи вывесок по пустынной улице
Нелепо тараторили немими голосами;

Как это жутко—видеть проспект,
Наполненный тысячью рекламных игрушек,
Медная ботфорта, зеркальный спектр,
Стерлядь на велосипеде, рюшик,

Тройка бронзовых кабаньих морд
Над гирляндой сосисок, зубная улыбка,
Женская ножка в чулке, скрипка,
Очки, циферблат)— и знать, что он мертв.

Домà как гробницы. Промахнут моторы
И снова глухота. И нечем утолиться.
Охлебывалась мраком большеви́стская столица
Жуткая как крематорий.

И вдруг на безлюдьи — толпа. У витражи.
— „Виноват. Разрешите. Подвиньтесь пожа-
ста“.

Чахлая лампочка обливала: галстух,
Дюжину запонок и пару подтяжек.

И туземцы напирали, зачарованные светом,
Осколком диковишной „белой“ культуры —
Спекулянт, проституха, комиссар из Совета,
Студийка с чемоданчиком, прошедшая турик.

Штейн возвратился: „Чудесно, старик.
Полная разруха — и хоть бы проблеск.
Еще немного — месяца три —
И большевики угроблены“.

И вдруг мокрицы посыпали разбег
На гипсовый бюст цезаря Октавия,
И явственно стена произнесла нараспев
Величественною октавой:

„Конь.

Струг.

Тиф.

Взвизнь.

Неразберибери и соха...

Кон-струк-тив-визм.

Это на год сухарь“.

Что это такое? — „Футурист Барабанов
Опять вероятно вымучивает вёрши“.

— „Фу. Балбёс. Ну и ржавый же рубанок,
А как он котировается на поэтской бирже?“

„Так, кустаришка, поэтская икра,
Но любопытен тем, что статистическое эхо:
Был футуристом, да вишь куда заехал —
Законструктивился: крах“.

— „Что же, это новое течение?“ — „Пока“.

— „Какие ж у них лозунги?“ — „Организация.
Плáновость, вёщность“.— „Понимаю — плакат.
Культурный дескать зуд. Под Европу подлизаться.“

Тут, конечно, дельце по заданию Рэ-Ка-Пу“.

— „О, нет, нисколько, Барабанов беспартийный“

— „Что ты?“ — „Уверяю“.— „Неужели же стихий-
но?“

Штейн побледнёл: „Что ж это? Капút?“

И, стиснув брови морщью отчаянной,
Капу́стное у́хо распусти́л и припла́вил.
Поэт рыча́ запевал заглавие:

„Медный чайник“.

„Лоснящийся красной медью,
На примусе пар заносит,
Начищенный и надменный
Воющий броненосец.“

И гаки на ем бесценны,
И как убедителен винтик,
Как точно оём бассейна
Равен английской пинте.

Он, меднобронной массой,
Лужёным желудком урчащий,
Отливает червонное масло
Кляксами об чашки.

И в этих отлитых латах
Покрытый шлемом индустрий
Он стоит под парами крылатый,
На боках отгибая утро.

И, оттуманясь на градус,
Сыпанёт золотистой дробью.
Подумать — какая радость
Построенное ведро“.

Штейн растерялся. Жёлтая зависть
Душила. Уже пропитался мозг:
„Что такое Барабанов? Мелкий мерзавец.
„Для мамонта разрухи — одна из моськ“.

Барабанов услышал. Там стало тихо.
Зажужжали шаги о дверное стекло.
Барабанов вошёл. — „Крыть так уж в лоб,
Моя фамилия — Жихов“.

Штейн ошчүрился. Евгений Иванович
Глотнул слюну: „Предъявите мандат.
Хе-хе. Это, Дима, наш комендант.
Послушайте, когда же мне исправят ванну?“

Но Штейн резанул поперек: „Избе
Не угнаться за Западом на родной осине:
Там алюминий, стекло, азбест,
Почему ж конструктивизм возник в России?“

Барабанов нажился: „Вот именно, да-да.
Вопрос, вот именно, эсеровский. Но вот что:
Почему это в стране, где воздушная почта
И прочее и прочее — течение „Dada“? 1)

„Dada“, эта заумь²⁾: Крученных по-французски
То же, что, вот именно, до Октября у нас.
Ага: различна база для музыки и
В хозяйстве концерна и в хозяйстве масс.

В первом поэту отпущены: весна,
Ода урбанизму и неземные звуки;
В другом — поэту — очки да руки
Строить, вот именно, вести, разъяснить.

1) Дадаизм — литературное течение на Западе, соответствующее нашему заумничанью.

2) Алексей Крученых — поэт, открывший заумь.

Бросьте, бросьте — зуб заболит.
Понимаешь — насосался на рабфаке открытий
И прямо граммофоном. Но запомните „критик“:
„Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв“.

Он долго кипятился то громче, то тише
Закрикивая всякую попытку реплик.
Барабанов потрогал какую-то пепельницу,
Что-то замурыкал и вышел.

Но Штейн погиб. На скамье бульвара
Под аплодисменты разбуженных галок
Он то качался, то срывался в ярость,
Нервно черча по песку палкой.

Искусство — громоздко. Оно только отмечает.
Значит это в воздухе. Значит это властит.
„Поэт“ уж не титул, а титул „мастер“
„Медный всадник“ и „Медный чайник“.

И снова бредил, толкая случайных,
Глядел с моста у Москва-реки на воду;
Смотрел, как Ленин читает „Правду“...
„Медный всадник“ и... „Медный чайник“.

Астрахань
22: XII — 1924

ГЛАВА 10.

„Маткеша“.—„Ау?“—„Запряга́й живота“.

„А́ которого?“—„Да нехай Ворончик“.

— „Ну же и ярмарка будет нонче“.

— „Само собой. Обожди — да вот так...“

„Не зама́й — сама знаю“. Хозяйство такое:

Поле у речки — гожее, недробное.

Яловка, поросая свинюха, а ко́ней

Целых три. Но про это подробней.

Первый — гнедой, в бе́лых чулка́х,

Кара́ктер нервный, кавалерийский.

Дылда на нем всю кампанию обры́скал.

Звали его — „Полкан“.

Второй — „Дырявый“, масти соловой.

Его бы, одра, татарину на ве́тошь,

Да вот, старушенция упёрлась: „Нет уж“.

И верно: понимал коняга каждое слово.

А третий „Ворончик“. Из себя гладкий,
Доброго мяса, ровно битюга́.
Краски вроде чигра́вой; смуру́гий.
И только по брю́ху заплáтка.

Изба тоже знатная: посере́ду печь,
Фанера отмежо́вывала ажно 3 заку́тки;
Дворик с кана́вкой, где поло́скались у́тки.
Есть четыре я́блоньки (пятая в дупле́).

И к осени налив, восково́й да гру́зный,
Сквозь солнце в меду, будет се́мячком ряби́ть,
А пока на подоконнике суше́ные гри́бы
Белые, лиси́чки, ры́жики да гру́зди.

Так полегоньку, силко́м да силко́м
У Дылды па́чка „Крестьянского займа“.
Дылду уже выбира́ют в селько́м,
Дылде сподру́чник — найми́т.

Вот он! выхо́дит — приво́льный собой.
В ро́звальни навалена смоле́ная ту́ша —
Перебрал во́жжи. Скри́пнула супо́нь
И пошла-пошла, пошла-пошла по — эхь, ты,
ма́шута!..

Раннее утро. Все как во сне.
Плыли снегу́рочки деревенек,

Розовый дым, голубые тени
И от зарí малиновый снег.

Думы были сы́тые. Крепко казачьи.
Больше касательно прошлой хва́кты
Что за добро? Ну, тулупчик заячий
И все. И ни ногтя хозяйской хватки.

А ведь бывало когда не валáндался
И звали его по-важнецки: Кузьмич.
И была у его рыба́чья шала́нда
С нево́дом из турецкой дузмы.

И вот, значить, только ветер-свистун
Закача́ет с флажко́м буёк на посу́де
И раздува́ет над мо́рем звезду́
(Ясное ж дело — уло́ва не бу́дет),

Ну, тогда происхо́дит разгово́рчик на све́те:
Бык из чрева грози́тся: „Ммы!“
Гусь: „Кого?“¹⁾ Индюшка: „Ве-те-тер“.
Чу́шка: „Хто?“ Поросята: „Кузьмич!“

Воро́бушек серенький шасть туда же:
— „Зачем-чечем?“ А голубь ему: „Дуует“.
Ку́рица спросит: „Куд-куд-куда?“
Жук: „В звеззз... (и об стенку) — ду!“

¹⁾ В слове „кого“ — о читать, как ò, а не как ò, „г“ читать, как г, а не как в.

„Ворончик“ прилежно по шоссе хло́пал,
Мороз ему хвост серебром вы́ткал.

„Трр. Стой“.— Районная коопа,
Где черный Семка и рыжий Давыдка.

Одного каба́на 16 пудов,
Четыре овчины, один опбе́к
Да правду сказать немного худо́й:
На бахтарме́ след водяно́го опо́я.

Теперь по корову. Верста́ — и доехали.
В „Доме Крестьянина“— номера́ и чай.
Бу́блики с маком. Кле́вые пекари.
Но чего бы такого пузу урча́ть?

И вот оказалось — имеется и борщ,
Густокро́вый с огурца́ми и жирными разво́дами.
Откуда вздымалось парно́е тепло́ дымя,
Варе́ных овоще́й уса́стая топорщъ.

Рису́нчатая ло́жка с облупленнóм у́стьем,
Нырну́в под глаза́стое зо́лото жи́жи,
Колыхала бульбы и плавни́ки капу́сты,
И борщ качался, жирный и рыжий.

Дылда пьянел. Он почти слышал
Крепкий градус мясного сока,
Который звучал до того высоко,
Что даже комар не сумел бы выше.

И язык обжигала вкусная боль,
И всякая брjúква с усов свисала,
И в сердце Дылды горел бой
Между борщом и кобыльим салом.

Нет, надо жить и, как люди, жевать
Русские щи, а не татарские кйшки,
Завести́ дётюк — Машку да Мишку,
Летом крестьянить, зимой гужевать.

Но тут прямо в борщ борода богомольца.
Уселся, сморкну́лся. Все в акурате:
— „Северная людь, тихомёрная, не ко́лется,—
Не то, что ваша южная братия.

Вот бунтовала. А за-што? Спроси-ка!
Какой он те хозяин? Лаптя́ не починит.
Яму, знамо дело, бабья да музы́ки,
А нету тово, чтобы корму скотине.

То ли вот наши. Омут так о́мут;
Избушка-то во... скворешни на вёрбах.
Нешто хозяйская пульса стёрпит
Жечь добро ни себе, ни другому“.

Дылда опешил: „В доску! Узнал!“
Посидел на крапивах. Вскочил и вышел.
А чтобы было, каб узнали повыше,
Не к ночи сказать — казнá.

Три его лошади мутно закачались,
Мутно закачалось середняцкое жнивье.
Подтвердью: бандовал. Но когда? У начале.
А теперь — соблюдаюся. Смирно живем.

Но кураж пообтих, хотя парень тугой.
И думал, пробираясь меж возов осторожененько,
Куплю у божника нательный чертогон
И на все мне насесть. Кроме ёжика.

Покончатъ бы скорее, а то может замуровят,
Хлопнул рукавицы: „Ей. Братва!
Давай который торговать корову“.
Подскочил барышник: „Мотри-кась: товар“.

Корову выбирать, голуба, нужно умеючи:
Дойная должна быть завсегда в кости,
Года у се на рогах имеются:
Отсчитать кружочки да два и скостить“.

— „Врешь, трепло — не скостить, а прибавить.
(По правде сказать тут был прав бандит).
И вдруг подошел к ним хохлацкий дід
Пудов этак на восемь да с лица рябавый.

— „Ось“. Дылда прямо-так и обмер.
— „Серга?“ — „Цыц. Дэрэвня яка?“
(Вдариться в милицию? Завопить об мир?)
— „Чуешь. Якое село?“ — „Молокань“.

„Ворончик“ пуча белки скакал,
Дылда хлестал его под хвост и в ноги.
Сани хрюкая катали в „Молокань“,
Но передумали — свернули на „Отлогое“.

Маруська была теперь учительша в школе.
Думала. Читала. Марья Ивановна.
Эти ребятки крестьянских околиц
Заставили жить ее наново.

И вот распутница, бандитка-анархистка
Обучала детей „Политграмоте“.
И над кроватью в кантованной рамочке —
С голубым бантом киска.

Сегодня Марь Иванна объясняла клопи,
Что облака это дождь, но не вылитый,
Как вдруг ледяное стекло залепил
Сплющенный нос Дылды.

В школе было ясно. Капала оттепель
И зайчики прыгали по партам из рук.
Все бы хорошо, да вот это вот „вдруг“.
Маруська недовольная вышла: „Чего тебе?“

Дылда с опаской оглянулся на дорогу:
— „Слышь ты — он тут“.— „Да? Ну, так что же?“
Глаза открытые. Серые. Не дрогнут.
Дылда вздохнул и маненечко ожил.

— „А что, как старик засвистает сбор?“
В уха́х засту́кало громче — но
Мару́ська вмиг овладела собой:
„Все, что было — кончено“.

— „Так-то оно так. Говорят же во-всю:
Который пес лае, той не кусает—
Но знает ли этого самый тот псюк,
Знает ли то Улялаев?“

Сама знаешь — лапы у ба́тьки липкие.
Их не отмоешь. Артист.
Скажет „прода́жники“. Вот и вертись,
Возьмет за ду́шник и силипнет.

Мару́ська стояла белёй молока,
Тряхну́ла плечо́м, не отве́тила больше.
По тракту задумчиво на „Молокань“
Членораздельно гадал колоко́льчик.

Зашел к соседу. В слепа́щем снегу́
Сивая кобылка казалась жёлтой.
По ней расплыва́лся жи́рный нагу́л —
Ейное по́йло — кофий из жо́лудя.

Нил Кондрашов не доест — не допьёт.
Но уж Машке овёс, все Машке, да Машке.
Сам колу́пает угри́ да репье́,
А уж лечит, как дите́ — ромашкой.

Кондрашов вышел — безухий ухарь
(Ухо осталось у ЧОН'а). — „Здоров!“
Он тоже носил сережку в ухе,
Но только с ниточкой, а не с дырой.

— „Слышь, Кондраш?“ — „Га“ — „Нынче он бу-
дет“.

— „Кто?“ — „Улялаев“ — „Что ты?“ — „Фахт“.

— „М-да...“ Помолчали. „Теперь не лафа,
Теперь бы за соху, а не за орудию“.

Эдак пошущукались, да вдвоем и вышли.
Дылда к Павлову, Кондрашов к Чижу.
И все говорили кто „м-да“, а кто „ишь-ты“,
Кого брала оторопь, а кого и жуть.

Ночью Дылда дремал как заяц.
В ухо нарезывалось мокрое дело.
Ему слышались шорохи, тени казались,
И корчилося смолёное от пота одеяло.

И, когда петух заорал на рассвете,
Он крикнул, сел и нутром ёкнул:
Широким махом качался в окнах
Задрипанный гнёздами ветер.

А в корявых сучьях незрелая луна
С голубыми кругами у глаз от бессонницы

Вяло встречала плывущую в наст
Золотозвонкую конницу.

И вот в ставень застучало кнутовище.
Дылда вылез: видит — Мороз,
Серебряная лошадь в полуторный рост
И башлык замéтается — хлыщет.

Долго обувался. „Ворончика“ поуськал.
Все уже в сборе: Павлов. Кондрашов.
— „Куда выступляем?“ — „Уперед за Маруськой“.
Дылда сказа́л: „Хорошо“.

Батя́к сопе́л: поддержа́ть ему стремя.
Он только было о́корок — но Дылда: айда!
Мужики́ навали́лись и верёвочный кайдан
Опетлил его ногу, да как на бойне вгремил.

Серга отряхался, как лесной кабан.
Но парни одолели. Увяза́ли на теле́гу.
И атаман четырёх знаменитых банд
Покати́лся в город. Коняга была пе́гая.

Батя́к знал ее: это „Лысуха“.
Она засека́лась и ходила в бинтах.
Конвои́ры мерно отбря́кивали такт,
Шипели в сугро́бах, звонили где сухо.

Го́голем в цокоте ехали врозь;
За́езд был свеж и прово́рен;

Сзади подхрамывал грузный вóрон,
Багровый от úтренних зорь.

Но Дылда был не в себе — неспокойно:
„Чортов фíлин! Чего ему острóг.
Задаст винта“. И крестьянские воины
Дали спешенный строй.

Братва его знала: выверчено веко,
Дырка в подбородке, да в мочке серьга.
Ежели только ускачет Серга —
Не оставит живого человека...

И Дылда вскíнул к щекé обрѣз —
Цок! — осѣчка. Но Павлов за винтовку,
Вдвíнул ему в губы — и золотой блеск
Озарíл изнутри его зúбы.

Из ноздрей лиловая кровь и дым.
Лицо, как молнией, дѣргалось мúкой,
Из темени хлестали с глотательным звуком
Пышные перья алой воды.

Кто-то еще слустíл карабин.
Пальцы скрjúчились, точно озябли;
Кто-то трусливо крикнул: „Рубí“,
Нос и гúбы перекрестили сáбли;

Но белый глаз не мигая смотрел.
И уже суеверные мáлость струхну́ли —

Не берет лешего ни тесак, ни пуля,
Хоть морда в разру́бе, а череп в дыре.

Зеркальный мороз на ветрах багровых
Его отражал то выше, то ниже
И он чернел, оползая в кровях
И лютый глаз его ворожил — пыжил.

Может, он мертв. Но его похоронят,
А страх из могилы дыхнет проказой.
Нет, тут нужна прапрадежья казнь:
И тело чтобы поглотали вороны.

И вы́нули топор, черный от опоя,
И дали помолиться, ежели горазд —
И Сергея - свет - Кирилыча тут же, в поле,
Голову на колесо — и раз...

Астрахань
XII — 1924 г.